Имморалист

Андре Жид

Повесть

Перевод А. Радловой

Предисловие

Выдаю эту книгу за то, что она есть. Это плод, пол­ный горького пепла; она подобна колоквинтам пусты-, ни, которые растут на сожженной почве и лишь силь­нее разжигают жажду, но на золотых песках не лише­ны красоты.

Если бы я вздумал выдать своего героя за образец, надо было бы признать, что это мне плохо удалось; те немногие, которые заинтересовались историей Мишеля, возненавидели его всей силой своей доброты. Я неда­ром украсил Марселину столькими добродетелями; Ми­шелю не могли простить, что он не предпочел ее себе.

Если бы я вздумал выдать эту книгу за обвинитель­ный акт против Мишеля, это мне удалось бы не лучше, так как никто не почувствовал ко мне благодарности за негодование, которое вызывал к себе мой герой; кажет­ся, что это негодование испытывали вопреки моему на­мерению; с Мишеля оно переливалось на меня; еще не­много — и меня смешали бы с ним.

Но я не хотел делать эту книгу ни обвинительным актом, ни похвальным словом — и воздержался от су­да. Теперь публика уже больше не прощает автору, ес­ли он, описав какой-нибудь поступок, не высказывает­ся ни за, ни против него; даже больше — хотели бы, чтобы в течение самой драмы он стал на чью-либо сто­рону, определенно высказался бы за Альцеста или Фи­линта, за Гамлета или Офелию, Фауста или Маргариту, Адама или Иегову. Разумеется, я не утверждаю, что

нейтральность (я чуть было не сказал: нерешитель­ность) есть знак великого ума; но я думаю, что многие великие умы испытывали отвращение к... выводам и что правильно поставить проблему не значит считать ее заранее разрешенной.

Я против желания употребляю слово «проблема». По правде сказать, в искусстве нет проблем, достаточ­ным разрешением которых не было бы само произведе­ние искусства.

Если под словом «проблема» подразумевать «дра­му», я скажу, что драма, которая описывается в этой книге, несмотря на то, что она разыгрывается в душе моего героя, достаточно обща, чтобы не оставаться зам­кнутой в единичной истории Мишеля. Я не притязаю на изобретение этой «проблемы»; она существовала до моей книги, и, торжествует или гибнет Мишель, «про­блема» продолжает существовать, и автор не приписы­вает себе ни торжества, ни поражения.

Если некоторые тонкие умы усмотрели в этой дра­ме только описание странного случая, а в герое только больного человека; если они не признали, что несколь­ко очень насущных и общеинтересных мыслей могут заключаться в ней, — в этом не виноваты ни мысли, ни драмы, но лишь сам автор, то есть его неловкость — не­смотря на то, что он вложил в эту книгу всю свою страсть, все слезы и все старания. Но реальная значи­тельность произведения и интерес к нему публики ны­нешнего дня — вещи совершенно различные. И я ду­маю, что без особенного самомнения можно предпо­честь опасность в первый день не заинтересовать веща­ми, воистину интересными, — тому, чтобы привести в кратковременный восторг публику, лакомую до безвку­сицы.

В общем, я не пытался ничего доказать, а лишь хо­рошо живописать и правильно освещать свою живо­пись.

I

*(Господину Председателю Совета Д. Р.) Сиди б. М. 30 июля 189...*

Да, ты конечно и сам об этом догадался: Мишель го­ворил с нами, дорогой брат. Вот его рассказ. Ты просил меня его сообщить, и я обещал; но в эту минуту, когда я должен его отправить тебе, я еще колеблюсь, и чем больше я его перечитываю, тем ужаснее он мне кажет­ся. Ах, что ты подумаешь о нашем друге. А что я сам о нем подумал?.. Просто ли мы осудим его, отрицая, что можно направить к добру свойства, которые проявляют­ся в зле?.. Но я боюсь, что в наши дни найдется немало людей, способных узнать себя в этом рассказе. Можно ли изобрести применение такому уму и силе, или надо просто отказать всему этому в правах гражданства.

Как Мишель может служить государству? Призна­юсь, что не знаю как... Ему нужно найти какое-нибудь занятие. Высокое положение, которого ты добился, благодаря твоим большим заслугам, власть, которой ты обладаешь, поможет ли тебе найти это занятие? Торо­пись. Мишель преданный человек, он еще пока предан­ный; скоро он будет предан одному себе.

Я пишу тебе под совершенно лазоревым небом; за двенадцать дней, что Дени, Даниэль и я здесь, не было ни одного облака, ни разу солнце не ослабевало; Ми­шель говорит, что небо чисто вот уже два месяца.

Я не грустен и не весел; здешний воздух наполняет смутным восторгом и приводит в состояние, которое кажется столь же далеким от веселья, как от печали; быть может, это счастье.

Мы здесь подле Мишеля: мы не хотим оставлять его; ты поймешь, почему, если захочешь прочитать эти страницы; здесь, в его доме, мы будем ждать ответа от тебя; не задерживай его.

Ты знаешь, какая глубокая школьная дружба, с каж­дым годом все растущая, связала Мишеля с Дени, с Да­ниэлем, со мной. Между нами четырьмя было заклю­чено нечто вроде договора: на первый зов одного дол­жны откликнуться трое остальных. И вот, когда я по­лучил от Мишеля таинственный призыв, я тотчас сообщил о нем Даниэлю и Дени, и мы трое, все бросив, уехали.

Мы не видали Мишеля уже три года. Он женился, увез свою жену путешествовать, и во время его послед­него пребывания в Париже Дени был в Греции, Дани­эль в России, а я, как ты знаешь, возле нашего больно­го отца. Однако мы имели о нем вести; но то, что нам рассказали Силас и Билль, не могло не удивить нас. В нем произошла какая-то перемена, которую мы не мог­ли еще себе уяснить. Это уже больше не был прежний ученый пуританин, с жестами неловкими, до того они были убежденные, с таким ясным взором, что перед ним часто замолкали наши слишком вольные разгово­ры. Это был... но зачем указывать на то, что ты узнаешь из его рассказа.

Я посылаю тебе этот рассказ в том виде, в каком Де­ни, Даниэль и я его услышали. Мишель говорил на тер­расе, где мы лежали около него в тени, при свете звезд. Когда рассказ подходил к концу, мы увидели восходя­щее солнце над равниной. Дом Мишеля возвышается над ней, так же как и деревня, от которой он находит­ся недалеко. В жару, когда вся трава скошена, эта рав­нина похожа на пустыню.

Дом Мишеля, хотя и беден и причудлив, но очарова­телен. Зимой в нем пришлось бы страдать от холода, так как в окнах нет стекол или, вернее, совсем нет окон, а лишь громадные дыры в стенах. Так тепло, что мы спим на воздухе, на циновках.

Я должен тебе еще сказать, что доехали мы хорошо. Мы добрались сюда вечером, изнемогающие от жары, опьяненные новизной, так как мы едва остановились в Алжире, потом в Константине. В Константине мы пере­сели на новый поезд, в котором доехали до Сиди б. М., где ожидала нас тележка. Проезжая дорога прекраща­ется далеко от деревни. Деревня торчит на вершине скалы, как некоторые умбрийские городки. Мы подня­лись пешком; наши чемоданы были нагружены на двух мулов. Когда к деревне подходишь этим путем, дом Мишеля оказывается первым. Его окружает сад, зам­кнутый со всех сторон низкой стеной, вернее, просто двор, в котором растут три раскидистых гранатовых де­рева *и* великолепный розовый олеандр. Там находился мальчик-кабил, который убежал при нашем приближе­нии: он без стеснения перелез через стену.

Мишель принял нас, не выражая радости; он был очень прост и, казалось, боялся всякого проявления нежности; но на пороге он серьезно поцеловал каждо­го из нас троих.

До вечера мы не обменялись и десятью словами. Очень скромный обед был подан в гостиной, удивив­шей нас своим роскошным убранством, но эту роскошь объяснит тебе рассказ Мишеля. Потом он угостил нас кофе, позаботившись сам о его приготовлении. Потом мы поднялись на террасу, откуда открывался бесконеч­ный вид и все трое, подобно друзьям Иова, стали ждать, любуясь быстрым закатом над равниной в огне.

Когда наступила тишина, Мишель заговорил:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дорогие друзья, я знал, что вы верны. Вы пришли на мой призыв так же, как я пришел бы на ваш. Однако вот уже три года, как вы не видели меня. Если бы ваша дружба, столь стойкая в разлуке, устояла так же хорошо перед рассказом, который вы услышите! Ведь, если я вас так внезапно позвал и заставил ехать до моего дале­кого дома, это только для того, чтобы видеть вас, и для того, чтобы вы могли выслушать меня. Я не хочу иной помощи, кроме того, чтоб говорить с вами. Я дошел до такого предела моей жизни, который я не могу пересту­пить. Это не усталость. Но я больше не понимаю. Мне нужно... Мне нужно говорить, как я вам сказал. Уметь освободиться, это — ничто, трудно уметь быть свобод­ным.- Позвольте мне говорить о себе; я расскажу вам мою жизнь, просто, без скромности и тщеславия, проще, чем если бы я говорил с самим собой. Слушайте:

Последний раз, когда мы виделись, это было, я по­мню, в окрестностях Анжера, в маленькой деревенской церкви, на моей свадьбе. Народу было много, и то, что это были исключительно друзья, превращало этот ба­нальный обряд в обряд трогательный.

Мне казалось, что друзья были взволнованы, и это меня тоже волновало. В доме той, которая становилась моей женой, мы с вами соединились при выходе из цер­кви за краткой трапезой без смеха и шуток; потом за­казанный экипаж увез нас, согласно обычаю, по кото­рому наш ум всегда связывает представление о свадьбе с образом вокзала.

Я очень мало знал свою жену и думал, не очень стра­дая от этого, что она меня знает не больше. Я женился на ней без любви и, главным образом, — чтобы угодить моему отцу, беспокоившемуся перед смертью, что он оставляет меня одного. Я нежно любил своего отца; во время его агонии, в эти печальные минуты я думал только о том, чтобы облегчить его конец: таким обра­зом, я связал свою жизнь, не зная, что такое жизнь. На­ша помолвка у изголовья умирающего была не весела, но не лишена торжественной радости — до того велик был мир, обретенный благодаря этой помолвке моим отцом. Если я не любил, как я сказал вам, мою невесту, я, во всяком случае, никогда не любил никакой другой женщины. В моих глазах этого было достаточно, чтобы построить наше счастье, и, не зная еще самого себя, я думал, что весь отдаю себя ей. Она была тоже сиротой и жила со своими двумя братьями. Ее звали Марсели- ной, ей едва минуло двадцать лет; я был на четыре го­да старше ее.

Я сказал, что я не любил ее — я не испытывал к ней ничего из того, что называется любовью, но если назы­вать любовью нежность, что-то вроде жалости и, нако­нец, некоторое уважение — я любил ее. Она была ка­толичкой, а я протестантом... но я считал себя проте­стантом в такой малой степени!.. Священник согласил­ся обвенчать меня, и я не возражал: все обошлось гладко.

Мой отец был тем, кто называется «атеистом» — по крайней мере, я предполагаю это, так как по непреодо­лимой стыдливости, которую, кажется, он разделял, я никогда не мог говорить с ним о его верованиях. Серь­езное гугенотское воспитание, данное мне моей ма­терью, медленно стиралось в моем сердце вместе с ее прекрасным образом: вы знаете, что я рано потерял ее. Я еще не подозревал, насколько овладевает нами эта детская мораль и какие борозды она оставляет в душе. Некую суровость, которую привила мне моя мать, вну­шая свои принципы, я перенес целиком на ученье. Мне было пятнадцать лет, когда она умерла; отец стал зани­маться мною, заботиться обо мне и вложил всю свою страсть в мое образование. Я уже хорошо знал грече­ский язык и латынь; с ним я научился древнееврейско­му, санскриту, персидскому и арабскому языкам. Ког­да мне минуло двадцать лет, я был настолько натаскан, что он решил приобщить меня к своей работе. Его за­бавляло обращаться со мной, как с равным, и он захо­тел доказать мне это равенство. «Опыт о фригийских культах», появившийся под его именем, был моим про­изведением; он его лишь слегка проредактировал; ни­когда за прежние работы его столько не хвалили. Он был в восторге. Я же был смущен, видя удачу этого об­мана. Но с этого момента я вошел в этот круг. Самые ученые профессора обращались со мной, как с колле­гой. Я улыбаюсь, теперь вспоминая о всех почестях, ко­торые мне воздавали... Таким образом, я достиг двадца­ти пяти лет, почти ничего не видав, кроме развалин, и почти ничего не зная о жизни. К работе у меня было не­обычайное усердие. Я любил нескольких друзей (вы были в числе их), но я более любил самое дружбу, чем друзей; моя привязанность к ним была велика, но это была лишь потребность благородства; я дорожил каж­дым своим прекрасным чувством. Впрочем, я так же не знал своих друзей, как не знал самого себя. Ни на одно мгновение мысль не приходила мне в голову, что я мог бы вести другой образ жизни или что вообще можно жить иначе.

Мой отец и я довольствовались очень простой жиз­нью; мы оба так мало тратили, что я достиг двадцати пяти лет, не зная, что мы богаты. Я воображал, не ду­мая об этом часто, что наших средств нам едва хвата­ет на жизнь, и, живя с отцом, я приобрел столь эконом­ные привычки, что почти испытал стеснение, когда по­нял, что мы обладаем гораздо большим состоянием. Я до того невнимательно относился к этим вопросам, что уяснил себе более или менее точно размеры своего со­стояния даже не после смерти моего отца, единствен­ным наследником которого я был, а лишь при подписа­нии брачного договора; и одновременно с этим я узнал, что Марселина не принесла мне почти ничего в прида­ное.

Была еще одна вещь, быть может, еще более важ­ная, которой я не знал: у меня было очень слабое здо­ровье. Как я мог бы знать это, никогда не подвергая се­бя испытанию? Время от времени у меня бывали на­сморки, к которым я относился небрежно. Слишком спокойный образ жизни, который я вел, ослаблял меня и в то же время предохранял. Марселина, напротив, ка­залась здоровой, — а что она была здоровее меня, мы в этом вскоре должны были убедиться.

В день нашей свадьбы мы уже ночевали в Париже, в моей квартире, где нам приготовили две комнаты. Мы пробыли в Париже лишь столько, сколько было не­обходимо для покупок, затем отправились в Марсель, где тотчас сели на пароход, отплывавший в Тунис.

Торопливые хлопоты, суматоха последних, слиш­ком стремительных событий, неизбежное свадебное волнение, последовавшее столь быстро за более насто­ящим волнением моей потери, — все это меня обесси­лило. Только на пароходе почувствовал я усталость. До тех пор всякое занятие, увеличивая ее, отвлекало меня от нее... Вынужденный пароходный досуг позволил мне, наконец, подумать. Мне казалось, что это случи­лось в первый раз.

Также в первый раз я согласился надолго оторвать­ся от своей работы. До тех пор я разрешал себе лишь краткие каникулы. Правда, путешествие в Испанию с отцом вскоре после смерти моей матери продолжалось более месяца, другое путешествие, в Германию, — шесть недель; были еще другие поездки — но уже чис­то научного характера. Отец при этом не отвлекался от своих весьма точных изысканий; я же, если не прини­мал в них участия, читал. И все же, как только мы по­кинули Марсель, передо мной встали различные воспо­минания о Гренаде, Севилье, о более чистом небе, бо­лее четких тенях, о празднествах, смехе и песнях. Вот то, что мы увидим, думал я. Я поднялся на палубу и смотрел, как удаляется Марсель.

Потом вдруг мне пришло в голову, что я обращаю слишком мало внимания на Марселину.

Она сидела на носу парохода; я подошел к ней и в первый раз посмотрел на нее по-настоящему.

Марселина была очень красива. Вы это знаете, вы видели ее. Я упрекнул себя, что этого раньше не заме­чал. Я слишком хорошо ее знал, чтобы видеть по-ново­му; наши семьи были дружны испокон веку; она вырос­ла на моих глазах; я привык к ее очарованию... В пер­вый раз я удивился, до того ее очарование показалось мне сильным.

На ее черной простой шляпе развевалась длинная вуаль. Она была белокурой и не казалась хрупкой. Ее юбка и корсаж были сделаны из шотландской шали, ко­торую мы вместе выбирали. Я не хотел, чтобы она ом­рачала себя моим трауром.

Она почувствовала мой взгляд, повернулась ко мне... До тех пор у меня была по отношению к ней лишь внешняя предупредительность. Я более или ме­нее хорошо заменял любовь чем-то вроде холодного ухаживания, которое, как я отлично видел, ее несколь­ко раздражало. Почувствовала ли Марселина, что в этот момент я в первый раз посмотрел на нее иначе? Она тоже пристально посмотрела на меня, потом очень нежно мне улыбнулась. Ничего не говоря, я сел подле нее. До тех пор я жил для себя или, по крайней мере, по-своему; я женился, не думая, что моя жена может для меня стать не только товарищем, не думая ясно о том, что из-за нашего союза моя жизнь может изме­ниться. Я наконец понял тогда, что здесь прекращается монолог.

Мы были одни на палубе. Она подставила мне свой лоб, и я тихо прижал ее к себе; она подняла глаза; я по­целовал их и вдруг почувствовал, благодаря этому по­целую, нечто вроде жалости; она залила меня так бур­но, что я не мог удержаться от слез.

— Что с тобою? — спросила меня Марселина.

Мы начали разговаривать. Ее очаровательные суж­дения привели меня в восторг. Я посильно выработал себе кое-какое представление о женской глупости. В этот вечер, возле нее я сам показался себе неловким и глупым.

Итак, та, с которой я связал свою жизнь, обладала собственной и реальной жизнью! Эта важная мысль будила меня несколько раз в течение этой ночи; не­сколько раз я поднимался на своей койке, чтобы по­смотреть, как на другой койке, нижней, спит Марсели­на, моя жена.

На следующий день небо было великолепно, море почти спокойно. Несколько неторопливых бесед еще уменьшили нашу стесненность. Брак начинал осущест­вляться по-настоящему. Утром в последний день октяб­ря мы приехали в Тунис.

Я намеревался пробыть там лишь несколько дней. Поведаю вам мою глупость; ничто в этой новой земле не привлекало меня, кроме Карфагена и некоторых римских развалин — Тимгат, о котором говорил мне Октав, Сусские мозаики и особенно Эль-Джемский ам­фитеатр, куда я собирался сразу же бежать. Надо было сначала добраться до Сусса, а там пересесть в почтовую карету; я хотел, чтобы ничто здешнее не удостоилось моего внимания.

Однако Тунис меня очень поразил. При новых впе­чатлениях, во мне волновались какие-то новые стороны моей души, дремавшие раньше, свойства, которые со­хранили всю свою таинственную нетронутость, так как до тех пор не действовали. Все меня больше удивляло и ошеломляло, чем развлекало, и больше всего мне нра­вилась радость Марселины.

Все же мое недомогание с каждым днем увеличи­валось, но мне казалось постыдным уступать ему. Я кашлял и чувствовал в верхней части груди странное стеснение. Мы едем на юг, думал я, — меня излечит жара.

Сфакский дилижанс отходит из Сусса в восемь ча­сов и проезжает Эль-Джем в час ночи. Мы заказали се­бе места в карете. Я думал, что она окажется неуютным рыдваном; на самом деле мы устроились довольно удобно. Но какой холод!.. Что за ребячливое доверие к теплому южному воздуху побудило нас, легко одетых, захватить с собой лишь одну шаль? Как только мы вые­хали из Сусса и из-под прикрытия его холмов, начал дуть ветер. Он прыгал по равнине, выл, свистел, прони­кал через каждую щель в дверцах; ничто не могло спа­сти от него. Мы приехали совсем продрогшие, а я к то­му же измученный толчками экипажа и ужасным каш­лем, еще больше меня теперь терзавшим. Что за ночь! Когда мы добрались до Эль-Джема, там не оказалось го­стиницы; ее заменяла отвратительная харчевня. Что де­лать? Дилижанс отправился дальше. Деревня спала. В ночи, казавшейся беспросветной, смутно виднелись мрачные громады развалин; выли собаки. Мы вошли в большую грязную комнату, в которой стояли две жал­кие кровати. Марселина дрожала от холода, но здесь, по крайней мере, нас не настигал ветер.

Следующий день был очень унылым. Мы удиви­лись, увидав сплошь серое небо. Ветер все еще дул, но не так яростно, как накануне. Дилижанс должен был приехать только вечером... Повторяю вам, это был мрачный день. Амфитеатр, который я бегло осмотрел, разочаровал меня; он даже показался мне уродливым под тусклым небом. Быть может, мое недовольство еще усиливалось от недомогания. В середине дня, не зная чем заняться, я вернулся к амфитеатру и стал тща­тельно искать какой-нибудь надписи на камнях. Марсе­лина, укрывшись от ветра, читала английскую книгу, которую, к счастью, захватила с собой. Я вернулся и сед около нее.

— Какой грустный день! Ты не очень скучаешь? — спросил я ее.

— Нет, ты видишь, я читаю.

— Зачем мы сюда приехали? Тебе хоть не холодно? — Не очень. А тебе? Правда, ты совсем бледный. — Нет.

Ночью ветер снова усилился. Наконец прибыл дили­жанс. Мы поехали.

После первых толчков я почувствовал себя совсем разбитым. Усталая Марселина вскоре заснула у меня на плече. Но я подумал, что мой кашель разбудит ее, и, тихонько высвободившись, я прислонил ее к стен­ке. Я уже больше не кашлял, нет, я отхаркивал; это была новость; я добивался этого без усилия; это при­ходило легкими приступами, через правильные про­межутки времени. Это было такое странное ощуще­ние, что в начале мне было почти забавно, но мне бы­стро опротивел незнакомый вкус, оставшийся потом во рту. Вскоре мой платок был полон мокроты, и я не мог им пользоваться, даже мои руки были выпачка­ны. Не разбудить ли Марселину?.. К счастью, я вспом­нил о большом шелковом платке, который она носила за поясом. Я тихонько вытащил его. Я уже больше не удерживал мокроты, и она стала отделяться еще обильнее. Это меня необыкновенно облегчало. Это, должно быть, конец насморка, подумал я. Внезапно я почувствовал большую слабость, все начало кружить­ся передо мною, и мне показалось, что я теряю созна­ние. Разбудить ее? Ах, нет! (От моего пуританского детства у меня сохранилась ненависть ко всякой ус­тупке слабости, я тотчас называл ее малодушием.) Я подобрался, крепко сжал руки и наконец победил свое обморочное состояние... Мне показалось, что я опять на море, и шум колес стал шумом волн... Но я перестал харкать.

Потом я впал в какое-то сонное забытье.

Когда я очнулся, утренняя заря разлилась по небу. Марселина еще спала. Мы подъезжали. Шелковый пла­ток, который я держал в руке, был темный, так что сна­чала на нем ничего не было заметно. Но когда я вынул свой носовой платок, я с изумлением увидел, что он весь в крови.

Моей первой мыслью было скрыть эту кровь от Марселины. Но как? Я был весь перепачкан; я всюду видел теперь кровь, особенно на моих пальцах... У ме­ня могла пойти кровь носом... Да, конечно, если она меня спросит, я скажу ей, что у меня шла кровь но­сом.

Марселина по-прежнему спала. Мы подъехали. Она сошла первой и ничего не заметила. Нам оставили две комнаты. Я вбежал в свою комнату, замыл, уничтожил следы крови. Марселина ничего не видела.

Однако я чувствовал большую слабость и приказал подать нам чай в комнаты. И в то время, когда Марсе­лина разливала чай, улыбаясь, очень спокойная и сама немного бледная, меня охватило какое-то раздражение на то, что она могла ничего не заметить. Правда, я чув­ствовал, что я несправедлив, и убеждал себя: раз она ничего не видела, то лишь потому, что я это ловко скрыл; но все было тщетно, — это росло во мне как ин­стинкт, овладевало мною... Наконец это стало выше моих сил, я не мог выдержать и почти небрежно ска­зал ей:

— Сегодня ночью у меня было кровохарканье.

Она не вскрикнула, она только сильно побледнела, пошатнулась, захотела удержаться и тяжело опустилась на пол.

Я бросился к ней с каким-то бешенством: «Марсе­лина! Марселина!» — Ну, вот что я наделал! Разве не­достаточно было того, что я болен? Но, как я сказал, я был очень слаб, и еще немного — я тоже упал бы в об­морок. Я открыл дверь, стал звать; на мой крик прибе­жали.

Я вспомнил, что у меня в чемодане было рекомен­дательное письмо к одному из гарнизонных офицеров; я воспользовался им, чтобы послать за военным вра­чом.

Между тем, Марселина пришла в себя; теперь она сидела у моей постели, где я дрожал в лихорадке. Врач пришел, осмотрел нас обоих. Он сказал, что у Марсели­ны ничего нет и она вполне оправилась от своего обмо­рока, а я тяжело болен. Он даже не захотел определить мою болезнь и обещал мне зайти под вечер.

Он вернулся, улыбаясь, говорил со мною и пропи­сал различные лекарства. Я понял, что он приговари­вает меня к смерти. Сознаться ли вам? Я даже не вздрогнул. Я устал. Просто, я отказался от борьбы. В конце концов, что мне сулила жизнь? Я хорошо рабо­тал, до конца твердо и страстно выполняя свой долг. А прочее... ах, не все ли мне равно, — думал я, достаточ­но одобряя собственный стоицизм. Но я страдал от бе­зобразия внешней обстановки. «Эта комната ужас­на», — и я стал рассматривать ее. Вдруг я вспомнил, что рядом, в такой же комнате, находится моя жена, Марселина, и я услышал, что она говорит. Доктор еще не ушел, он разговаривал с нею; он старался говорить тихо. Прошло некоторое время: я, должно быть, за­снул...

Когда я проснулся, Марселина была около меня. Я понял, что она плакала. Я недостаточно любил жизнь, чтобы жалеть самого себя, но мне мешало безобразие этой комнаты; почти с наслаждением мой взгляд отды­хал на Марселине.

Теперь она писала, сидя рядом со мной. Она мне по­казалась красивой. Я видел, как она запечатала не­сколько писем. Потом она встала, подошла к моей кро­вати и нежно взяла меня за руку.

— Как ты теперь себя чувствуешь? — сказала она.

Я улыбнулся и грустно ответил:

— Выздоровею ли я?

Тотчас же она ответила мне:

— Выздоровеешь, — с такой уверенностью, что поч­ти убедила меня, *и я* смутно почувствовал все, чем мог­ла бы быть жизнь с ее любовью — неясное видение та­кой патетической красоты, что слезы брызнули у меня из глаз, и я долго плакал, не имея ни сил, ни желания сдерживать себя.

Какой силой любви увезла она меня из Сусса! Каки­ми очаровательными заботами окружала меня, защища­ла, спасала, не спала ночей... От Сусса до Туниса, потом от Туниса в Константину. Марселина была изумитель­на. Я должен был выздороветь в Бискре. Ее вера была непоколебима, а усердие не ослабевало ни на одно мгновение. Она все приготовляла, распоряжалась все­ми переездами, устраивала помещения. Увы, она не могла сделать это путешествие менее ужасным! Не­сколько раз мне казалось, что надо остановиться и все кончить. Я потел, как умирающий, задыхался, подчас терял сознание... К концу третьего дня я добрался до Бискры полумертвый.

II

К чему рассказывать о первых днях? Что от них ос­талось? Ужасное воспоминание о них безгласно. Я уже больше не знал — ни кто я, ни где я. Я вспоминаю толь­ко склонившуюся над моим смертным ложем Марсели- ну, мою жену, мою жизнь. Я знаю, что только ее стра­стные заботы, только ее любовь спасли меня. Однажды, наконец, как потерпевший кораблекрушение видит землю, я почувствовал, как пробуждается луч жизни; я мог улыбнуться Марселине. Зачем рассказывать все это? Важно было то, что смерть, как говорят, коснулась меня крылом. Важно, что для меня стало удивительным то, что я живу, и дневной свет стал для меня неожидан­но ярким. Раньше, думал я, я не понимал, что живу. Я был перед животрепещущим открытием жизни.

Наступил день, когда я мог встать. Я был в полном восторге от нашего дома. Он почти весь состоял из тер­расы, но какой террасы! Моя комната и комната Мар- селины выходили на нее; она продолжалась над кры­шами. С наиболее высокой ее части видны были паль­мы за домами, а за пальмами — пустыня. Городские са­ды находились по другую сторону террасы, и тень от ветвей соседских акаций падала на нее. С третьей сто­роны она тянулась вдоль маленького прямого дворика с шестью правильными пальмами и заканчивалась лес­тницей, которая соединяла ее с двором. Моя комната была просторна и полна воздуха; выбеленные стены, на которых ничего не висело; маленькая дверь вела в комнату Марселины, другая, большая и стеклянная, — на террасу.

Там протекали дни без часов. Сколько раз в моем одиночестве я вспоминал эти медленные дни!.. Марсе- лина около меня. Она читает; она шьет; она пишет. Я ни­чего не делаю. Я смотрю на нее. О, Марселина! Я смот­рю. Я вижу солнце; вижу тень; вижу, как граница тени передвигается; мне настолько не о чем думать, что я на­блюдаю за нею. Я еще очень слаб; я плохо дышу; все ме­ня утомляет, даже чтение; к тому же, что читать? Суще­ствовать — это уже достаточно занимает меня.

Однажды утром Марселина входит со смехом:

— Я веду к тебе друга, — говорит она.

Я вижу, как за нею входит маленький смуглый араб. Его зовут Бахир, у него большие молчаливые глаза, ко­торые глядят на меня. Я немного стеснен, и это стесне­ние уже утомляет меня; я ничего не говорю, кажусь рас­серженным. Мальчик смущен холодностью моего при­ема, он поворачивается к Марселине и с животной и ла­сковой грацией прижимается к ней, берет ее руку и целует; при этом движении обнажаются его голые ру­ки. Я замечаю, что он совсем голый под своей тонкой белой гандурой[[1]](#footnote-1) и заплатанным бурнусом[[2]](#footnote-2).

— Ну, садись здесь, — говорит Марселина, которая видит мое смущение. — Играй тихонько.

Мальчик садится, вынимает нож из капюшона свое­го бурнуса, кусок джерида[[3]](#footnote-3) и начинает его строгать. Кажется, он хочет сделать свисток.

Через некоторое время меня уже больше не стесня­ет его присутствие. Я смотрю на него. Кажется, что он забыл, где он. Его ноги босы, щиколотки у него очаро­вательные, так же как и запястья. Он орудует своим дрянным ножом с забавной ловкостью... Неужели вправду это может меня заинтересовать... Волосы его выбриты на арабский лад; на голове рваная шешия[[4]](#footnote-4) с дыркой вместо кисти. Слегка сползшая рубашка об­нажает нежные плечи. Мне хочется прикоснуться к нему. Я наклоняюсь, он оборачивается и улыбается мне. Я ему делаю знак, чтобы он дал мне свой сви­сток, беру его и делаю вид, что очень восхищен. Те­перь он хочет уходить. Марселина дает ему пирожок, я — два су.

На следующий день я в первый раз скучаю; я жду, чего жду? Я чувствую пустоту, какое-то беспокойство. Наконец я не выдерживаю:

— Что же, Бахир не придет сегодня, Марселина?

— Если хочешь, я схожу за ним.

Она уходит, спускается по лестнице, через секунду возвращается одна. Что со мною сделала болезнь! Мне грустно до слез, потому что она пришла без Бахира.

— Уж слишком поздно, — говорит она, — дети ушли из школы и все разбрелись. Знаешь, среди них есть оча­ровательные. Кажется, они теперь уже все знают меня.

— По крайней мере, постарайся, чтобы завтра он был здесь.

На следующий день Бахир пришел. Он сел, как третьего дня, вытащил свой нож и стал обтачивать слишком твердое дерево так старательно, что вонзил себе лезвие в большой палец. Я вздрогнул от ужаса, он засмеялся, показал блестящий порез и стал забав­ляться, глядя, как течет кровь. Когда он смеялся, бы­ли видны его очень белые зубы; он с удовольствием облизал свою руку; у него был розовый язык, как у кошки. Ах, как он был здоров! Вот во что я влюбился: в его здоровье. Здоровье его маленького тела было прекрасно.

На следующий день он принес биллиардные шары. Ему хотелось заставить меня играть. Марселины не бы­ло; она бы меня удержала от этого. Я колебался, потом посмотрел на Бахира; малыш схватил меня за рукав, су­нул мне шарики в руки и заставил меня взять их. Я очень задыхался, нагибаясь, но все же старался играть. Радость Бахира очаровывала меня. Наконец я изнемог. Я отбросил шары и упал в кресло. Бахир, немного сму­щенный, смотрел на меня.

— Болен? — мило спросил он.

У него был прелестный голос. Вошла Марселина.

— Уведи его, — сказал я, — я чувствую себя очень ус­талым сегодня.

Через несколько часов после этого у меня было кровохарканье. Это случилось, когда я с трудом ходил по террасе; Марселина была чем-то занята у себя в комнате; к счастью, она ничего не видела. Запыхав­шись, я глубже вдохнул воздух, и вдруг это наступило. Мне залило весь рот... Но это уже больше не была свет­лая кровь, как во время первого кровохарканья, а ужас­ный сгусток, который я с отвращением выплюнул на землю.

Я сделал несколько шагов, пошатываясь. Я был ужасно взволнован. Я дрожал. Мне было страшно; и я пришел в ярость. Почему-то до сих пор я думал, что вы­здоравливаю понемножку и мне только надо подо­ждать. Этот резкий припадок отодвигал меня назад. Странная вещь, но первые разы кровохарканье не про­изводило на меня такого впечатления; я теперь вспоми­нал, что оставался после них почти спокойным. Откуда же мой страх, мое отвращение теперь? Увы, я начинал любить жизнь.

Я вернулся назад, нагнулся, отыскал свой плевок, взял соломинку и, приподняв сгусток крови, положил его в носовой платок. Я посмотрел. Это была гадкая, почти черная кровь, что-то скользкое, отвратительное... Я вспомнил о сверкающей, прекрасной крови Бахира... И вдруг меня охватило желание, жажда, какое-то более яростное, более настойчивое чувство, чем все, до сих пор испытанное мною: жить. Я хочу жить! Я хочу жить! Я стиснул зубы, кулаки, весть сосредоточился в безум­ном, отчаянном порыве к жизни.

Накануне я получил письмо от Т. в ответ на взвол­нованные вопросы Марселины. Письмо было полно ме­дицинских советов. Т. даже присоединил к своему письму несколько популярных медицинских брошюрок и одну более специальную книгу, которая показалась мне поэтому более серьезной. Я небрежно прочел пись­мо и совсем не читал книжек; прежде всего, они были похожи на маленькие моральные трактаты, которыми меня изводили в детстве, и потому не располагали ме­ня к чтению, затем потому, что все советы мне надоели, наконец, я не думал, чтобы все эти «советы туберкулез­ным», «практическое лечение туберкулеза» можно бы­ло применить ко мне. Я не считал себя туберкулезным. Я охотно приписывал свое первое кровохарканье дру­гой причине, или, вернее, я ничему не приписывал его, избегал думать, вовсе об этом не думал и считал себя если не выздоровевшим, то очень близким к выздоров­лению... Я прочел письмо; проглотил книгу, брошюры.

Вдруг с ужасающей ясностью я увидел, что до сих пор я жил изо дня в день, отдаваясь смутной надежде; вне­запно мне показалось, что моя жизнь в опасности, в ужасной опасности самая ее сердцевина. Многочислен­ный деятельный враг жил во мне. Я прислушался к не­му, подстерег его, почувствовал его. Я не могу побе­дить без борьбы... и я прибавил вполголоса, как бы для того, чтобы убедить самого себя: это дело воли.

Я перевел себя на военное положение.

Наступил вечер; я стал обдумывать свою страте­гию. На некоторое время единственным предметом моего внимания должно стать мое выздоровление, мо­им долгом — мое здоровье; надо признавать хорошим, называть благом все то, что для меня целебно, забы­вать и отталкивать все, что не способствует лечению. До ужина я выработал правила для дыхания, движе­ния, еды.

Мы ели посреди террасы в беседке. Интимность на­ших обедов и ужинов была очаровательна, благодаря нашему одиночеству, покою и полной оторванности от всего. Из соседней гостиницы старый негр приносил нам довольно сносную еду. Марселина обдумывала ме­ню, заказывала одни блюда, отвергала другие... Так как обыкновенно я не был очень голоден, я не особенно огорчался, если какое-нибудь блюдо не удавалось или пища была недостаточно обильна. Марселина, не при­выкшая много есть, не понимала, не отдавала себе от­чета, что я недостаточно питаюсь. Из всех моих реше­ний первым было — много есть. Я собирался приво­дить его в исполнение, начиная с сегодняшнего вечера. Но это мне не удалось. Ужин состоял из какого-то несъедобного рагу и до безобразия пережаренного жаркого.

Я так сильно рассердился, что перенес свой гнев на Марселину и стал неумеренно обвинять ее. Слушая меня, можно было подумать, что она должна нести от­ветственность за дурное качество стола. Эта малень­кая задержка в выполнении намеченного мною режи­ма приобретала самое существенное значение; я забы­вал о предыдущих днях; этот неудавшийся ужин все портил. Я заупрямился. Марселине пришлось отпра­виться в город за консервами или каким-нибудь паш­тетом.

Она вскоре вернулась с маленьким паштетом, кото­рый я почти весь поглотил, как бы для того, чтобы до­казать и ей, и себе, до какой степени мне необходимо много есть.

В тот же вечер мы договорились о следующем: пи­тание будет значительно улучшено, более обильное и каждые три часа, начиная с 6.30 утра. Большой запас разнообразных консервов восполнит жалкую отельную пишу...

В эту ночь я не мог спать, до того предчувствие мо­их новых подвигов опьяняло меня. Я думаю, что у ме­ня был небольшой жар; около меня стояла бутылка ми­неральной воды; я выпил стакан, потом второй, потом докончил в один прием всю бутылку. Я повторил свое решение, как повторяют урок; я заучивал свою враж­ду, направлял ее на разные вещи; я должен был бо­роться против всего — мое спасение зависело от одно­го меня.

Наконец, я увидел, как бледнеет ночь; рассвело.

Это было мое всенощное бдение перед боем.

Следующий день был воскресенье. До сих пор, дол­жен признаться, я мало размышлял о верованиях Мар- селины; из равнодушия или скромности я думал, что это меня не касается; к тому же я не придавал этому значения.

В этот день Марселина пошла к обедне. Когда она вернулась, я узнал от нее, что она молилась за меня. Я пристально посмотрел на нее, потом сказал ей со всею нежностью, на какую был способен:

— Не надо молиться за меня, Марселина.

— Почему? — спросила она, немного смутившись.

— Я не люблю покровительства.

— Ты отвергаешь Божью помощь?

— После Он имел бы право на мою благодарность. Это создает обязательства, а я их не хочу.

Это имело вид шутки, но мы ничуть не заблужда­лись относительно важности наших слов.

— Ты не выздоровеешь без помощи, мой бедный друг, — сказала она со вздохом.

— Тем хуже для меня.

Затем, видя ее печаль, я добавил менее резко:

— Ты поможешь мне.

III

Я буду много говорить о своем теле. Я буду столько говорить о нем, что вам сначала покажется, что я забыл о душе. В моем рассказе это пренебрежение намерен­но, тогда же оно было реальным. У меня не было доста­точных сил, чтобы поддерживать двойную жизнь; о ду­хе и тому подобном, говорил я, подумаю потом, когда мне станет лучше.

Я был еще далек от выздоровления. Из-за всякого пустяка я обливался потом, из-за всякого пустяка про­стуживался; у меня было «короткое дыхание», как го­ворит Руссо; подчас небольшой жар; часто с утра у ме­ня было ощущение ужасной усталости, и тогда я оста­вался неподвижно в кресле, равнодушный ко всему, эгоистичный и с единой заботой о правильном дыха­нии. Я дышал тяжело, систематически и старательно; мои выдыхания происходили с двумя перерывами, ко­торых моя сверхнапряженная воля не могла вполне ус­транить; еще долго после я избегал их лишь благодаря внимательному усилию.

Но больше всего я страдал от моей болезненной чувствительности ко всякому изменению температу­ры. Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что общее нервное расстройство сопровождало мою бо­лезнь; иначе я не могу объяснить целый ряд явлений, которые нельзя вывести из простого туберкулеза. Мне постоянно было или слишком жарко или слишком хо­лодно; тогда я до смешного плотно закутывался, пере­ставал дрожать лишь начиная потеть, снова раскры­вался немного и сразу же начинал дрожать, как толь­ко переставал потеть. Части моего тела застывали, становились, несмотря на пот, холодными как мрамор; ничто не могло их согреть. Я был до того чувствите­лен к холоду, что простуживался, если несколько ка­пель воды падали мне на ногу, когда я мылся; в такой же мере *я был* чувствителен к жаре. У меня сохрани­лась эта чувствительность, сохранилась до сих пор, но теперь она стала для меня источником наслаждения. Всякая повышенная восприимчивость, мне кажется, может стать, в зависимости от крепости или слабости организма, поводом для наслаждения или мучения. Все, что прежде волновало меня, стало для меня те­перь сладостным.

Не знаю, как я спал до тех пор с закрытыми окна­ми; по совету Т. я попробовал их открывать ночью; со­всем немного сначала; вскоре я стал их широко раскры­вать; еще некоторое время это сделалось такой настой­чивой потребностью, что я задыхался, как только за­крывал окно. С каким наслаждением впоследствии я чувствовал, как проникает ко мне ночной ветер, лун­ный свет...

Я тороплюсь покончить с этим первым лепетом вы­здоровления. Действительно, благодаря непрестанно­му уходу, свежему воздуху, улучшенной пище, я стал быстро поправляться. Раньше, боясь одышки при подъ­еме на лестницу, я не смел уходить с террасы; в по­следние дни января я наконец вышел и решился погу­лять по саду.

Марселина сопровождала меня с шалью в руках. Было три часа дня. Ветер, часто очень резкий в этих краях и сильно беспокоивший меня, в последние три дня спал. Мягкий воздух был очарователен.

Городской сад... Его пересекла широчайшая аллея, обсаженная двумя рядами деревьев, что-то вроде высо­ких мимоз, называемых там кассиями. В тени этих де­ревьев — скамейки. Река в виде канала, — я хочу ска­зать, более глубокая, чем широкая, и почти прямая, — текла вдоль аллеи; потом другие каналы, поменьше, распространяя воду, несли ее через весь сад к насажде­ниям, — тяжелую воду цвета земли, цвета розово-серой глины. Почти полное отсутствие иностранцев, лишь не­сколько арабов; они прохаживаются, и как только уда­ляются с солнечной стороны, их белые плащи окраши­ваются тенью.

Необычайная дрожь охватила меня, как только я вступил в эту странную тень; я закутался в шаль; одна­ко я не почувствовал никакого недомогания, напро­тив... Мы сели на скамейку. Марселина молчала. Мимо нас проходили арабы; потом появилась целая компания детей. Марселина знала некоторых из них и сделала им знак; они подошли. Она мне назвала их имена; последо­вали вопросы, ответы, улыбки, гримасы, игры. Все это меня немного раздражало, и я снова стал себя плохо чувствовать; я утомился и покрылся потом. Но сознать­ся ли мне в этом, — меня стесняли не дети, меня стес­няла она. Да, хоть и едва-едва, но я был стеснен ее при­сутствием. Если бы я встал, она пошла бы за мною; ес­ли бы я снял шаль, она захотела бы ее нести; если бы я снова надел ее, она спросила бы: «Тебе холодно?» И за­тем я не смел говорить с детьми перед нею; я видел, что у нее были свои любимцы; невольно, из духа противо­речия, меня влекло к другим.

— Пойдем домой, — сказал я ей, и про себя решил, что вернусь в сад без нее.

На следующий день ей надо было выйти около де­сяти часов утра: я воспользовался этим. Маленький Бахир, который почти каждое утро приходил к нам, взял мою шаль; я почувствовал себя бодрым, и на сер­дце у меня было легко. Мы были почти одни в аллее, я медленно шел, присаживался на секунду, потом сно­ва шел. Бахир, болтая, следовал за мной, верный и по­датливый как собака. Я добрался до того места кана­ла, куда женщины приход ят стирать; посреди течения лежал плоский камень, а на нем девочка, наклонив­шись над водой, бросала в нее веточки и затем вылав­ливала их. Ее босые ноги побывали в воде; от этого ку­пания на них оставался след, и в этом месте ее кожа казалась темнее. Бахир подошел к ней и заговорил; она обернулась, улыбнулась мне и ответила Бахиру по- арабски.

— Это моя сестра, — сказал он мне.

Потом он объяснил мне, что его мать должна прий­ти стирать и что его сестренка ждет ее. Ее звали Радра, что значит по-арабски Зеленая. Все это он рассказывал голосом прелестным, ясным и детским, как и то волне­ние, которое я от этого испытывал.

— Она просит, чтобы ты дал ей два су, — приба­вил он.

Я дал ей десять су и собирался уже уходить, когда вдруг появилась их мать, прачка. Это была великолеп­ная женщина с татуированным голубой краской боль­шим лбом; она несла на голове корзину с бельем и бы­ла похожа на античных канефор; как и они, она была прикрыта только широким куском синей материи, под­нимающейся к поясу и спадающей прямо до ног. Как только она увидела Бахира, она грубо закричала на не­го. Он резко ответил ей, вмешалась девочка, между ни­ми завязался громкий спор. Наконец Бахир, видимо по­бежденный, дал мне понять, что он нынче утром нужен своей матери; он грустно протянул мне шаль, и мне при­шлось возвращаться одному.

Не прошел я и двадцати шагов, как моя шаль пока­залась мне невыносимой тяжестью; весь в поту, я опу­стился на первую попавшуюся скамейку. Я надеялся, что встретится какой-нибудь мальчик, который освобо­дит меня от этого груза. Скоро появился большой че­тырнадцатилетний мальчишка, черный как суданец, и нисколько не застенчивый, который сам предложил свои услуги. Его звали Ашур. Он бы мне показался кра­сивым, если бы не был кривым. Он оказался разговор­чивым, сообщил мне, откуда текла река, и то, что по вы­ходе из общественного сада она течет в оазис и проре­зает его насквозь. Я слушал его, забыв свою усталость. Каким прелестным ни казался мне Бахир, я теперь уже слишком хорошо знал его и был рад перемене. Я даже решил про себя, что в другой раз отправлюсь совсем один в сад и буду, сидя на скамейке, поджидать случай­ной счастливой встречи...

После нескольких минутных остановок мы добра­лись, Ашур и я, до моих дверей. Мне хотелось пригла­сить его к себе, но я не решился, не зная, что скажет Марселина.

Я застал ее в столовой с очень маленьким мальчи­ком, таким тщедушным и хилым, что сначала почувст­вовал к нему больше отвращения, чем жалости. Немно­го робко Марселина сказала мне:

— Бедный мальчик болен.

— Надеюсь, это не заразно? Что с ним?

— Я еще точно не знаю. Он жалуется, что у него всюду немножко болит. Он довольно плохо говорит по- французски. Когда Бахир завтра приедет, он будет на­шим толмачом. Я хочу напоить его чаем.

Потом, как бы извиняясь и потому, что я стоял, ни­чего не говоря, она добавила:

— Я уже давно знаю его, но я не смела его позвать к нам; я боялась, что это утомит тебя или, может быть, не понравится тебе.

— Почему же? — воскликнул я. — Приводи сюда всех детей, каких хочешь, если это тебе приятно!

И я подумал, немного сердясь на то, что этого не сделал, что я отлично мог бы привести Ашура.

Тем временем, я смотрел на свою жену; она была по-матерински нежна. Ее сердечность была так трога­тельна, что мальчик ушел совсем обласканный. Я заго­ворил о своей прогулке и осторожно дал понять Марсе- лине, почему я предпочитаю гулять один.

По ночам я еще по нескольку раз просыпался око­ченевший или мокрый от пота. Эту ночь я спал очень спокойно, почти без просыпу. На следующее утро я был готов, чтобы выйти из дому, с десяти часов. Была хорошая погода; я чувствовал себя отдохнувшим, не слабым, радостным или, вернее, весело настроенным. Воздух был спокойный и теплый, но я все же взял свою шаль, как предлог для знакомства с тем, кто мне понесет ее. Я уже говорил, что сад прилегал к нашей террасе; таким образом, я сразу в него спустился. Я с восторгом вошел в его тень. Воздух был пронизан све­том. Акации, цветы которых распускаются значитель­но раньше листьев, благоухали, — если только это не был лившийся отовсюду легкий аромат, который про­никал в меня, приводя в экстаз. Вообще, я дышал сво­боднее; походка моя становилась от этого легче. Одна­ко я сел на первую же скамейку, но скорее от опьяне­ния и головокружения, чем от усталости. Я огляделся. Тень была легка и подвижна, она не падала на землю, а, казалось, едва касалась ее. О, свет! Я прислушался. Что я услышал? Ничего. Все. Меня радовал каждый шорох... Я вспоминаю деревцо, кора которого показа­лась тогда мне такой странной, что мне пришлось встать, чтобы подойти пощупать ее. Я прикоснулся к ней движением, каким ласкают; я в этом нашел вос­торг. Я вспоминаю... Не в это ли утро, наконец сужде­но мне было родиться?

Я забыл, что я один, я ничего не ждал, забыл время. Мне казалось, что до этого дня я так мало чувство­вал, — ради того, чтобы только думать, что под конец я удивился: мое ощущение становилось таким же силь­ным, как мысль.

Я говорю: мне казалось — потому что из глубины моего раннего детства поднялись, наконец, тысячи вос­поминаний о тысячах забытых ощущений. Это новое ощущение моих чувств приоткрывало мне их тревож­ное познание. Да, мои чувства, отныне пробудившиеся, вспоминали всю свою историю, воссоздавали свое про­шлое. Они жили. Они жили. Они никогда не перестава­ли жить и обнаруживали, даже сквозь мои годы учения, свою скрытную и лукавую жизнь.

В этот день я никого не встретил и был рад этому. Я вынул из кармана маленький томик Гомера, кото­рый я не открывал со времени отъезда из Марселя, прочел три фразы из Одиссеи, хорошенько запомнил их, потом, найдя достаточную пищу в их ритме и на­сладившись ими вволю, я закрыл книгу и продолжал сидеть, дрожащий, более живой, чем мог вообразить, с душой, онемевшей от счастья...

IV

Марселина, видевшая с радостью, что мое здо­ровье, наконец восстанавливается, уж несколько дней рассказывала мне о чудесных фруктовых садах оази­са. Она любила воздух и ходьбу пешком. Свобода, ко­торой она пользовалась благодаря моей болезни, дава­ла ей возможность совершать длинные прогулки, и она возвращалась из них в восторге; до сих пор она о них вовсе не говорила, не решаясь меня увлекать за со­бой и боясь огорчить рассказом об удовольствиях, ко­торыми я еще не мог пользоваться. Но теперь, когда я начал поправляться, она рассчитывала на их привлека­тельность, чтобы ускорить мое выздоровление. Меня влекло к прогулкам мое возродившееся желание хо­дить и глядеть. И уже на следующий день мы вышли вместе.

Она повела меня по причудливой дороге, подобной ей я никогда не видел ни в какой стране. Она извива­ется как бы беспечно между двумя высокими земляны­ми стенами; очертания садов, огражденных этими сте­нами, изменяют ее направление; после первого же по­ворота вы теряетесь и не знаете, откуда и куда вы иде­те. Верная речка следует за дорожкой, течет вдоль стен; они сделаны из самой земли оазиса, из розоватой или нежно-серой глины, темнеющей от воды и треска­ющейся от солнца; они твердеют во время жары, но размякают от первого ливня и становятся тогда матери­алом для ваяния, на котором отпечатываются босые но­ги. Над этими стенами высятся пальмы. Когда мы под­ходили, над ними летали горлицы. Марселина смотре­ла на меня.

Я забыл свою усталость и слабость. Я шел в каком- то экстазе, в молчаливом ликовании, в восторге всех чувств и всего тела. В этот момент поднялся легкий ве­терок; все пальмы заколебались, и мы увидели, как на­клонились самые высокие из них; потом весь воздух снова успокоился, и я ясно услышал за стеной звуки флейты. Пробоина в стене. Мы вошли.

Это было место, полное тени и света; оно было спо­койным и казалось скрытым от бега времени; оно бы­ло полно тишины и трепетаний, легкого шума текущей воды, которая поит пальмы и бежит от дерева к дереву, нежных призывов горлиц, звуков флейты, на которой играл ребенок. Он пас стадо коз; он сидел на обрубке пальмы; он не смутился при нашем приближении, не убежал и только на мгновение перестал играть.

Во время этой краткой тишины я заметил, что изда­ли вторит другая флейта. Мы прошли еще немного, за­тем Марселина сказала:

— Не стоит идти дальше; все эти фруктовые сады похожи один на другой; может быть, только в конце оазиса они становятся немного обширнее...

Она разостлала шаль на земле.

— Отдохни.

Сколько времени мы там оставались? Я не помню, — что нам часы? Марселина была около меня; я лег и по­ложил ей голову на колени. Звуки флейты все струи­лись, прерывались на мгновение, затем возобновля­лись. Шум воды... Иногда блеяла коза. Я закрыл глаза; я почувствовал на лбу прохладную руку Марселины, я чувствовал пламенное солнце, нежно ослабленное пальмами; я ни о чем не думал; к чему думать? — Я чув­ствовал необычайно...

И мгновениями новый шум; я открывал глаза: это был легкий ветерок в пальмах, он не доходил до нас, а лишь колебал верхушки деревьев...

На следующее утро я вернулся в этот сад с Марсе­линой, а вечером пошел туда же один. Пастух, играв­ший на флейте, был там. Я подошел, заговорил с ним. Его звали Лассиф, ему было только двенадцать лет, он был красив. Он назвал мне имена своих коз, рассказал, что каналы называются «сетями», что они не все текут каждый день; воду распределяют разумно и бережно, утоляют жажду деревьев и тотчас прекращают течение. У корней каждой пальмы вырыт узкий водоем, содер­жащий воду, которая поит дерево; остроумная система каналов, которую мальчик объяснил мне, наглядно при­водя ее в действие, сдерживает воду и направляет ее ту­да, где слишком сильная жажда.

На следующий день я увидел брата Лассифа, он был немного старше, менее красив, звали его Лахми. При помощи своеобразной лестницы, которую образуют на стволе рубцы срезанных ветвей, он взобрался на самую верхушку обезглавленной пальмы, потом ловко спу­стился, обнаруживая под развевающейся одеждой свою золотистую наготу. Он нес с верхушки укороченной пальмы маленький глиняный кувшин; он был привешен наверху под свежей рамой, чтобы в него вытекал паль­мовый сок, из которого делают сладкое вино, очень лю­бимое арабами. По приглашению Лахми, я попробовал его, но его приторный, терпкий и сиропный вкус мне не понравился.

В следующие дни я пробрался дальше; я видел дру­гие сады, других пастухов и других коз. Как Марсели­на сказала, все эти сады были одинаковы, и однако все они отличались один от другого.

Иногда Марселина сопровождала меня, но чаще, как только мы выходили в сады, я расставался с нею, убеждая ее, что я устал и мне хочется сесть, что ей не надо меня ждать и следует больше гулять; таким обра­зом, она доканчивала прогулку без меня. Я оставался с детьми. Вскоре я со многими из них познакомился; я подолгу говорил с ними, я узнавал их игры, учил их но­вым, проигрывая им всю свою мелочь в «пробку». Не­которые меня далеко провожали (каждый день я удли­нял свои прогулки), указывали мне на обратном пути новые дорожки, несли мое пальто и шаль, когда я брал с собой и то и другое; перед тем, как с ними расстать­ся, я раздавал им монетки; иногда они шли за мной, все время играя, до моих дверей, иногда даже они заходи­ли ко мне.

Потом Марселина стала сама приводить других де­тей. Она приводила школьников, которых она поощря­ла к учению; по выходе из школы, послушные и при­мерные, заходили они к нам; те, которых приводил я, были другие, но игры соединяли их. У нас всегда быва­ли приготовлены для них сиропы и лакомства. Вскоре дети стали приходить уже без зова. Я помню каждого из них; они стоят у меня перед глазами...

В конце января погода внезапно испортилась; подул холодный ветер, и это сразу отозвалось на моем здо­ровье. Большой открытый пустырь, отделяющий оазис от города, стал для меня непреодолимым, и мне снова пришлось довольствоваться общественным садом. По­том пошли дожди, ледяные дожди, и на самом горизон­те, на севере, горы покрылись снегом.

Я проводил эти печальные дни около огня, унылый, яростно борясь с болезнью, бравшей верх надо мной в плохую погоду. Мрачные дни. Я не мог ни читать, ни ра­ботать; малейшее усилие вызывало мучительный пот, всякое напряжение внимания меня истощало. Как толь­ко я переставал старательно следить за своим дыхани­ем, я задыхался.

В эти грустные дни дети были для меня единствен­ным доступным развлечением. Во время дождя заходи­ли лишь наиболее привязанные к нам, их одежда была промокшей насквозь, они садились кружком у огня. Все подолгу молчали. Я был слишком утомленным, слишком больным, чтобы что-нибудь делать, я мог толь­ко смотреть на них; но их здоровье вливало в меня си­лы. Те, которых ласкала Марселина, были слабы, хилы и слишком благоразумны, я раздражался на нее и на них и под конец отталкивал их. По правде сказать, я их боялся.

Однажды утром я сделал любопытное открытие в самом себе: Моктир, единственный из питомцев моей жены, который не раздражал меня (может быть пото­му, что он был красив), был один со мной в моей ком­нате; до тех пор я его не очень любил, но его блестящий и темный взгляд меня занимал. Любопытство, которое я сам себе не мог объяснить, заставило меня следить за каждым его движением. Я стал у огня, облокотившись о камин, на котором лежала книга; я казался очень за­нятым, но видел в зеркале все движения мальчика, к которому стоял спиной. Моктир не догадывался, что за ним наблюдают, и думал, что я углублен в чтение. Я увидел, как он бесшумно подошел к столу, на который Марселина положила рядом со своей работой малень­кие ножницы, украдкой схватил их и мгновенно спря­тал под свой бурнус. Мое сердце на секунду сильно за­билось, но самые благоразумные рассуждения не мог­ли меня привести ни к малейшему возмущению. Боль­ше того, я не мог себя убедить в том, что чувство, на­полнившее меня тогда, не было радостью. Дав Моктиру достаточное время, чтобы спокойно обокрасть меня, я повернулся к нему и заговорил, как ни в чем не быва­ло. Марселина очень любила этого мальчика; однако мне кажется, что не страх огорчить ее заставил меня не только не выдать Моктира, но еще придумать какую-то небылицу, чтобы объяснить пропажу ножниц. С этого дня Моктир стал моим любимцем.

V

Нам предстояло уже недолго оставаться в Бискре. Когда прошли февральские дожди, вдруг наступила сильнейшая жара. После нескольких тяжелых дней не­прерывных ливней однажды утром я проснулся под сплошной лазурью. Как только я встал, я поспешил на самый верх террасы. Небо от края до края было чисто. Под пламенным уже солнцем поднималась дымка; весь оазис дымился; вдали шумел вышедший из бере­гов Уэд. Воздух был так чист *и так* прекрасен, что я тотчас же почувствовал себя лучше. Пришла Марсели­на; мы хотели выйти, но нас удержала дома в этот день грязь.

Через несколько дней мы отправились в плодовый сад Лассифа. Стебли казались тяжелыми, мягкими и на­бухшими от воды. Африканская земля, залитая в тече­ние долгого времени водой, теперь просыпалась от зи­мы, разрываемая новыми соками; она смеялась от яро­стной весны, отзвук которой я чувствовал в самом се­бе. Сначала нас сопровождали Ашур и Моктир; я еще наслаждался их легкой дружбой, стоившей только пол­франка в день; но вскоре они мне надоели, так как я уже не был так слаб, чтобы нуждаться в примере их здоровья, и, не находя больше в их играх нужной пищи для радости, я обратил к Марселине свой духовный и чувственный экстаз. По радости, которую она от этого испытывала, я заметил, что раньше она была печальна. Я просил у нее прощения, как ребенок, за то, что часто оставлял ее, объясняя свое непостоянное и странное на­строение слабостью, утверждал, что до тех пор я был слишком усталым для любви, но что отныне я чувст­вую, что моя любовь будет крепнуть вместе с моим здо­ровьем. Я говорил правду, но должно быть был еще очень слаб, так как только через месяц я стал желать Марселину.

Между тем, с каждым днем увеличивалась жара. Ничто нас не удерживало в Бискре, — кроме очарова­ния, которое меня снова должно было туда привести. Наш отъезд был решен внезапно. За три часа мы уло­жились. Поезд шел на следующий день на рассвете...

Я вспоминаю последнюю ночь. Было почти полнолу­ние; через мое широко открытое окно лунный свет за­ливал комнату. Мне казалось, что Марселина спала. Я лежал, но не мог спать. Я чувствовал, как меня жгла ка­кая-то счастливая горячка — это была просто жизнь... Я встал, опустил руки в воду и вымыл лицо, потом вы­шел через стеклянную дверь.

Было уже поздно; ни шума, ни вздоха, даже воздух казался заснувшим... Издали едва был слышен лай ва- рабских собак, рявкающих всю ночь, как шакалы. Пе­редо мною — маленький дворик; на стене напротив ме­ня лежала косая тень; правильные пальмы, бесцветные и безжизненные, казались навсегда неподвижными... Но даже во сне можно найти трепет жизни, — здесь ни­что не казалось мертвым. Я пришел в ужас от этого по­коя и вдруг меня снова охватило в этой тишине возму­щенное, утверждающее, отчаянное, трагическое ощу­щение жизни, страстное почти до боли и такое настой- чивое, что я крикнул бы, если бы мог кричать, как зверь. Я взял свою руку, я помню, левую руку правой рукой; мне захотелось поднести ее к голове, и я это сделал. Почему? Чтобы убедить себя в том, что я вижу, и признать это изумительным. Я прикоснулся к своему лбу, к векам и вздрогнул. Придет день, думал я, когда у меня не хватит даже сил, чтобы поднести к губам во­ду, которую я буду желать больше всего на свете... Я вошел в комнату, но еще не сразу лег; мне хотелось за­помнить эту ночь, навязать своей памяти воспомина­ние о ней, удержать ее; не зная еще, что для этого сде­лать, я взял книгу со своего стола, Библию, и открыл ее наугад; я прочел слова Христа Петру, слова, кото­рые, увы, мне не суждено было забыть: «Теперь ты сам перепоясываешься и идешь туда, куда хочешь идти, но когда ты будешь стар, ты протянешь руки...» Ты протя­нешь руки...

На следующий день на рассвете мы уехали.

VI

Я не буду говорить о всех этапах путешествия. Не­которые из них оставили о себе неясное воспомина­ние: мое здоровье, то улучшавшееся, то ухудшавшееся, колебалось еще от холодного ветра, омрачалось от те­ни облака, и мое нервное состояние служило причиной частых недомоганий; но, по крайней мере, мои легкие поправлялись, каждый рецидив был менее долгим и серьезным, чем предыдущий; его натиск был столь же сильным, но мой организм был лучше вооружен про­тив него.

Мы из Туниса добрались до Мальты, потом до Си­ракуз; я возвращался в античную землю, язык и про­шлое которой были мне знакомы. С начала моей болез­ни я жил без проверки, без законов, просто стараясь жить, как живет животное или ребенок. Менее погло­щенная болезнью, моя жизнь становилась теперь устой­чивой и сознательной. После этой долгой агонии мне казалось, что я возрождаюсь прежним и скоро свяжу свое настоящее с прошлым. Благодаря полной новизне незнакомой страны, я мог так заблуждаться; здесь же — нет; все говорило мне о том, что меня удивляло: я изменился.

Когда в Сиракузах и дальше я захотел снова вер­нуться к своим занятиям, погрузиться, как прежде, в кропотливое изучение прошлого, я обнаружил, что не­что если не уничтожило, то, по крайней мере, измени­ло мой вкус к нему; это было ощущение настоящего. История прошлого принимала в моих глазах неподвиж­ность, пугающую застылость ночных теней маленького дворика в Бискре, неподвижность смерти. Прежде мне нравилась самая эта застылость, которая делала точнее мою мысль; все исторические события казались мне предметами из музея или, вернее, растениями из герба­рия, окончательная омертвелость которых помогала мне забывать, что некогда, полные соков, они росли под солнцем. Теперь, если я находил какой-нибудь ин­терес в истории, то только представляя ее себе в насто­ящем. Большие политические события тревожили меня теперь меньше, чем возрождающееся волнение, кото­рое возбуждали во мне поэты или некоторые люди сильной воли. В Сиракузах я перечел Феокрита и думал о том, что его пастухи с прекрасными именами — те же, которых я любил в Бискре.

Моя ученость, пробуждавшаяся на каждом шагу, за­громождала меня, мешая моей радости. Я не мог смот­реть на греческий театр или храм, не воссоздавая его тотчас же мысленно. Сохранившиеся развалины на ме­стах, где некогда устраивались античные праздники, пе­чалили меня, что они мертвы; а смерть мне была отвра­тительна.

Я дошел до того, что стал избегать развалин; стал предпочитать самым прекрасным памятникам прошло­го низкие сады, называемые латомиями, где растут ли­моны с кислой сладостью апельсинов, и берега Кианы, которая течет среди папирусов такая же голубая, как в тот день, когда оплакивала Прозерпину.

Я дошел до того, что стал презирать в себе ученость, бывшую прежде моей гордостью; наука, прежде состав­лявшая всю мою жизнь, теперь мне казалась случайной и условной. Я открыл, что стал другим и существую — о, радость! — вне науки. В качестве специалиста я ка­зался себе тупицей. В качестве человека — знал ли я себя? Я едва еще рождался и не мог ещё знать, что рож­даюсь. Вот что мне надо было узнать.

Ничто не может быть трагичнее для того, кто думал умереть, чем медленное выздоровление. После того как человека коснулось крыло смерти, то, что казалось важным, перестает им быть; другие вещи становятся важными, которые ими не казались и о существовании которых он даже не знал. Скопление всяких приобре­тенных знаний стирается с души, как краска, и места­ми обнажается самая кожа, настоящее, прежде скрытое существо.

Тогда я стал искать познания «его», настоящего су­щества, «древнего человека», которого отвергло Еван­гелие; того, которого все вокруг меня. — книги, учите­ля, родители и я сам — старались раньше упразднить. И мне казалось, благодаря напластованиям, очень хитрым и трудным делом открыть его, но тем более это откры­тие становилось полезным и достойным. С этого време­ни я стал презирать существо, усвоенное мною, нало­женное на меня образованием. Надо было стряхнуть с себя этот груз.

Я сравнивал себя с палимпсестом; я испытывал ра­дость ученого, находящего под более новыми письмена­ми на той же бумаге древний, несравненно более дра­гоценный текст. Каков был этот сокровенный текст? И для того, чтобы прочесть его, не надо ли было стереть новый?

Я уже не был тем хилым трудолюбивым сущест­вом, которому подходила его прежняя суровая и огра­ничительная мораль. Это было больше чем выздоров­ление, это было приобретение, рост жизни, приток бо­лее щедрой и горячей крови, которая должна была прилить к моим мыслям, прилить к ним, к каждой из них; все проникнуть, взволновать, окрасить самые дальние, тонкие и тайные фибры моего существа. Ибо к здоровью или слабости привыкаешь; человек созда­ет себя в зависимости от свойх сил; но как только они прибывают, как только они разрешают большее, тот­час же... Всех этих мыслей у меня еще тогда не было, *и* здесь мое изображение неправильно. По правде ска­зать, я не думал, я не наблюдал за собой, меня вел сча­стливый рок. Я боялся, что слишком быстрый взгляд нарушит таинство моего медленного превращения. На­до было дать время стертым письменам снова появить­ся, а не стараться их писать самому. Не отбросив вов­се свою мысль, а оставив ее под паром, я с наслажде­нием отдавался себе, вещам, всему, и это казалось мне божественным. Мы оставили Сиракузы; я бежал по крутой дороге, соединяющей Таормину и Молу, и кри­чал, призывая к себе: «Новый человек! Новый чело­век!»

Мое единственное усилие, усилие в ту пору посто­янное, состояло в систематическом изгнании или унич­тожении того, что мне казалось относящимся лишь к старому моему воспитанию, к прежней морали. Из ре­шительного пренебрежения к своей науке, из презре­ния к своим ученым вкусам, я не хотел видеть Агриген­та, а несколько дней спустя, по дороге в Неаполь, не ос­тановился перед прекрасным храмом в Нестуме, в ко­тором еще дышит Греция и куда я отправился два года позже молиться какому-то Богу.

Что я говорю я о единственном усилии? Мог ли я так интересоваться собою, если бы я не был сущест­вом, способным к совершенствованию? Никогда моя воля, направленная к этому неведомому совершенству, которое я смутно представлял себе, не была так стра­стно напряжена; всю эту волю я прилагал к укрепле­нию моего тела и закалению его. Удалившись от бере­га около Салерно, мы добрались до Равелло. Там более свежий воздух, прелесть скал, полных расщелин и не­ожиданностей, неведомая глубина долин, помогая моей силе, моей радости, благоприятствовали моему порыву.

Более близкий к небу, чем удаленный от берега, Ра­велло стоит на отвесной горе против далекого и пло­ского побережья Пестума. Под нормандским владыче­ством это был почти значительный город; теперь это маленькая деревушка, в которой, кажется, мы были единственными иностранцами. Мы поселились в быв­шем монастыре, нынче превращенном в отель; он по­строен на краю скалы, и его террасы и сад кажутся па­рящими в небе. За стеной, увитой виноградом, сначала видно только море; надо подойти к стене, чтобы заме­тить искусственный спуск, который скорее лестница­ми, чем дорожками, соединяет Равелло с берегом. За Равелло продолжаются горы. Оливковые деревья, ог­ромные рожковые; в их тени — цикламены; повыше множество каштанов; свежий воздух, северные расте­ния; ниже, у моря, лимонные деревья. Они посажены маленькими группами из-за уклона почвы; эти сады-ле­стницы почти не отличаются один от другого; узкая ал­лея посредине разрезает их от одного конца до друго­го; туда входишь без шума, как вор. В этой зеленой те­ни мечтаешь; листва — густая и тяжелая; ни один яр­кий луч не проникает сквозь нее; душистые лимоны висят, как капли застывшего воска; в тени они кажут­ся белыми и зеленоватыми; нужно только протянуть руку, почувствовав жажду; они сладкие, терпкие; они освежают.

Тень была так непроницаема под ними, что я после ходьбы, от которой у меня еще появлялась испарина, побоялся в ней задерживаться. Однако лестницы уже не утомляли меня; я упражнялся в том, что поднимался с закрытым ртом; я все увеличивал расстояние между моими передышками и убеждал себя: «дойду до такого- то места, не ослабевая»; потом, дойдя до цели и находя награду в своей удовлетворенной гордости, я дышал глубоко, сильно, так что мне казалось, что воздух про­никает более активно в мои легкие. Я переносил на этот уход за телом всю мою прежнюю старательность. Я делал успехи.

Я подчас удивлялся такому быстрому возвращению здоровья. Я приходил к мысли, что я вначале преувели­чивал тяжесть своей болезни, я доходил до того, что со­мневался в самой своей болезни, смеялся над своим кровохарканьем, жалел, что мое выздоровление было недостаточно трудным.

Я сначала очень глупо лечился, не зная потребно­стей своего организма. Я терпеливо изучил их и до­шел в осторожности и заботах о себе до такой изо­щренности, что забавлялся этим как игрой. То, от че­го я еще сильно страдал, это была моя болезненная чувствительность к малейшим изменениям темпера­туры. Теперь, когда мои легкие были здоровы, я при­писывал эту болезненную чувствительность моей нер­возности, наследию болезни. Я решил это побороть.

Прекрасная загорелая кожа, как бы насыщенная сол­нцем, крестьян, работавших с небрежно открытой грудью в поле, возбудила во мне желание так же за­гореть. Однажды утром, раздевшись догола, я посмот­рел на себя; вид моих слишком худых рук, плеч, ко­торых величайшие мои усилия не могли выпрямить, особенно же белизна или, вернее, бесцветность моей кожи наполняли меня стыдом и довели до слез. Я бы­стро оделся и, вместо того чтобы отправиться в Амальфи, пошел по направлению к скалам, поросшим низкой травой и мохом, подальше от жилищ, подаль­ше от дорог, туда, где, я знал, меня не могли увидеть. Придя туда, я медленно разделся. Воздух был очень свежий, но солнце жгло. Я подставил все свое тело его огню. Я садился, ложился, поворачивался. Я чув­ствовал под собой твердую землю; трепещущие травы прикасались ко мне. Несмотря на то, что я был защи­щен от ветра, я дрожал и трепетал от каждого дунове­ния. Скоро меня обволокла восхитительная жара; все мое существо приливало к коже.

Мы прожили в Равелло две недели; каждое утро я возвращался на скалы лечиться. Вскоре избыток одеж­ды, бывшей на мне, стал для меня стеснительным и не­нужным; моя выдубленная кожа перестала непрерывно потеть и стала защищаться собственным теплом.

Утром в один из последних дней (это было в середи­не апреля) я решился еще на большее. В расщелине ска­лы, о которой я вам рассказывал, бежал прозрачный родник. Он тут же падал водопадом, правда не очень большим, но дальше, под водопадом, образовался более глубокий водоем, в котором задерживалась совсем чи­стая вода. Три раза я приходил туда, наклонялся, ложил­ся на берегу, полный жажды и желаний; я подолгу раз­глядывал каменное, гладкое дно, где не было ни малей­шей грязи, ни травы, и где, дрожа и блестя, светилось солнце. На четвертый день я подошел, заранее решив­шись, к воде, еще более прозрачной, чем обычно, и без долгого раздумья сразу окунулся в нее. Быстро охла­дившись, я вышел из воды и лег на траву на солнце. Там росла душистая мята; я сорвал ее, смял ее листы, рас­тер ею свое влажное, но пылающее тело. Я долго смот­рел на себя уже без всякого стыда, с радостью. Я нахо­дил себя если еще не сильным, то на пути к силе, гар­моничным, чувственным, почти прекрасным.

VII

Таким образом, вместо деятельности, вместо рабо­ты, я довольствовался физическими упражнениями, ко­торые, конечно, были связаны с моей изменившейся моралью, но которые казались мне теперь только уст­ремлением, средством и не удовлетворяли меня уже больше сами по себе.

О другом моем поступке, быть может, смешном в ваших глазах, я вам все же расскажу, так как в своей ребячливости он подчеркивает мучившее меня жела­ние проявить во мне изменение моего существа: в Амальфи я побрился.

До этого дня я носил бороду и усы, а волосы на го­лове коротко стриг. Мне не приходило в голову, что я могу иметь другой вид. И вдруг, в тот день, когда в пер­вый раз я лег голым на скале, борода мне помешала; это было как бы последней одеждой, которой я не мог снять; она казалась мне фальшивой; она была тщатель­но подстрижена не клинышком, а квадратно, и внезап­но мне показалась неприятной и смешной. Вернувшись к себе в гостиницу, я посмотрелся в зеркало и не понра­вился себе; у меня был вид того, кем я был до сих пор, — археографа. Сразу после завтрака я спустился в Амальфи с готовым решением. Город очень невелик; мне пришлось удовольствоваться дрянной цирюльней. Был базарный день; помещение было полно народу; мне пришлось бесконечно долго ждать; но ничто, ни со­мнительная бритва, ни желтая кисточка, ни скверный запах, ни болтовня цирюльника — ничто не могло за­ставить меня отступить. Когда я почувствовал, как под ножницами падает моя борода, мне показалось; что я снимаю маску. И все же, когда я потом увидел себя, чувство, охватившее меня, еле сдерживаемое, было не радостью, а страхом. Я не объясняю этого чувства, я констатирую его. Я нашел свои черты довольно краси­выми... нет, страх происходил оттого, что мне казалось, будто моя голая душа видна всем, и от того, что она вдруг показалась мне страшной.

Зато я отпустил волосы на голове.

Вот все, что мое новое, еще праздное существо могло совершить. Я думал, что из него родятся удиви­тельные для меня самого поступки; но это попозже, говорил я себе, попозже, когда мое существо станет более полным. Принужденный жить в ожидании, я как Декарт, придерживался предварительного образа действий. Таким образом, Марселина могла еще оши­биться. Правда, мой изменившийся взгляд и особенно в тот день, когда я появился без бороды, новое выра­жение моего лица способны были обеспокоить ее, но она уже слишком меня любила, чтобы как следует ме­ня видеть; к тому же я успокоил ее, как мог. Необхо­димо было, чтобы она не мешала моему возрожде­нию; чтобы скрыть его от ее глаз, надо было притво­ряться.

Ведь тот, кого Марселина любила, тот, за кого она вышла замуж, это было не мое «новое существо». И я повторял себе это, чтобы заставить себя скрываться. Та­ким образом, я отдавал ей только свой образ, который становился изо дня в день тем лживее, чем более он был неизменен и верен прошлому.

Итак, пока что мои отношения с Марселиной оста­вались прежними, хотя с каждым днем все более взвол­нованными, потому что росла любовь. Даже мой обман (если можно назвать обманом потребность охранять мою душу от ее суда), даже мой обман усиливал нашу любовь. Я хочу сказать, что благодаря этой игре я не­прерывно думал о Марселине. Быть может, эта необхо­димость лжи меня слегка тяготила; но я быстро пришел к убеждению, что худшие на свете вещи (ложь, напри­мер, не говоря о другом) трудны только до тех пор, по­ка их делаешь, но что каждая из них, и очень скоро, ста­новится удобной, приятной, легкой к повторению и ско­ро совсем естественной. Как во всякой вещи, первона­чальное отвращение к которой побеждено, я кончил тем, что стал находить удовольствие в самом этом об­мане, увлекаться им, как игрой моих, еще неведомых мне, способностей, *и с* каждым днем я продвигался, в моей все более богатой и полной жизни, к более сладо­стному счастью.

VIII

Дорога из Равелло в Сорренто так прекрасна, что я в то утро не пожелал бы ничего более прекрасного в мире. Горячая жесткость скал, обилие воздуха, арома­ты, прозрачность — все наполняло меня чудесным оба­янием жизни, и этого было до такой степени достаточ­но, что, казалось, одна лишь легкая радость жила во мне; воспоминания и сожаления, надежды и желания; будущее и прошлое — молчали; я знал тогда о жизни только то, что приносило с собой и уносило мгновение. «О, телесная радость! — восклицал я. — Уверенный ритм моих мускулов! Здоровье!»

Я вышел рано утром без Марселины — ее слишком спокойная радость умеряла бы мою, как и ее шаги за­медлили бы мои. Она должна была приехать в экипаже в Позитано, где мы условились завтракать.

Я подходил к Позитано, когда шум колес, вторив­ший странному пению, заставил меня обернуться. Сна­чала я ничего не увидел из-за поворота дороги, которая в этом месте идет вдоль берегового обрыва; потом вне­запно появился беспорядочно несущийся экипаж; это был экипаж Марселины. Кучер пел благим матом, раз­махивая руками, привставал на козлах и дико хлестал обезумевшую лошадь. Какое животное! Он проехал мимо меня, так что я едва успел посторониться, и не остановился на мой окрик... Я бросился вперед, но эки­паж несся слишком быстро. Я одинаково трепетал, что Марселина выскочит из коляски или что она в ней ос­танется; сделав скачок, лошадь могла сбросить ее в мо­ре... Вдруг лошадь падает. Марселина вскакивает, хо­чет бежать, но я уже подле нее. Кучер, завидев меня, накидывается на меня с ужасной бранью. Взбешенный поведением этого человека, я при первом же его руга­тельстве бросился на него и стащил с козел. Я покатил­ся на землю вместе с ним, но не потерял превосходст­ва над ним; он, казалось, растерялся от падения и вско­ре был совсем ошеломлен, когда, видя, что он хочет укусить меня, я ударил его кулаком прямо в лицо. Я по- прежнему не отпускал его, придавив его грудь коле­ном и стараясь овладеть его руками. Я смотрел на его мерзкое лицо, еще более обезображенное моим уда­ром; он плевался, пускал слюну, ругался, у него текла кровь, у, гнусное существо! Поистине, я считал себя вправе задушить его, и, быть может, я бы это сделал... по крайней мере, я считал себя способным на это, и я почти уверен, что только мысль о полиции меня удер­жала.

Мне не без труда удалось крепко связать этого бес­новатого. Я бросил его в экипаж, как мешок.

Ах, каким взглядом и какими поцелуями обменя­лись мы тогда с Марселиной! Опасность была невели­ка; но мне пришлось выказать свою силу — для того, чтобы защитить ее. Мне в эту минуту казалось, что я мог бы отдать свою жизнь за нее... и отдать ее с радо­стью... Лошадь поднялась. Предоставив коляску пьяни­це, мы оба уселись на козлах и, кое-как правя, добра­лись до Позитано, а потом до Сорренто.

В эту ночь я обладал Марселиной.

Ясно ли это вам, или я должен еще раз повторить вам, что я был новичком в делах любви. Быть может, именно моя неопытность придала такое очарование на­шей брачной ночи... Потому что мне кажется, когда я те­перь вспоминаю, что эта первая ночь была единствен­ной, до такой степени ожидание и неожиданность люб­ви усилили прелесть наслаждения, до такой степени од­ной ночи достаточно, чтобы воплотилась величайшая любовь; вот почему мое воспоминание так упорно воз­вращается только к этой одной ночи. Это было единое мгновение смеха, в котором слились наши души... И мне кажется, что в любви есть черта, единственная, которую душа позже, — ах, напрасно! — старается переступить; и что усилие, которое она делает, чтоб воскресить свое счастье, изнашивает ее; и что ничто так не мешает сча­стью, как память о счастье. Увы, я помню эту ночь...

Наша гостиница была за городом, окруженная роща­ми и плодовыми садами, наша комната выходила на об­ширный балкон; ветви деревьев касались его. Заря сво­бодно вошла в наше широко раскрытое окно. Я тихонь­ко приподнялся и нежно склонился над Марселиной. Она спала и во сне будто улыбалась. Я показался себе сильным рядом с нею, более хрупкой, и я почувствовал, что ее прелесть была непрочной. Неспокойные мысли закружились в моей голове. Я думал о том, что она не лжет, говоря, что я — все для нее; потом сразу же: «Что я делаю, чтобы принести ей радость? Почти каждый день я ее покидаю одну; она ждет от меня всего, а я ее бросаю... Ах, бедная, бедная Марселина!..» Мои глаза наполнились слезами. Напрасно я искал оправдания в моей прошедшей болезни; имел ли я теперь право на постоянные заботы о себе, имел ли право на эгоизм? Не был ли я теперь сильнее, чем она?

Улыбка сошла с ее лица. При свете все позолотив­шей зари она показалась мне теперь грустной и блед­ной; а может быть, приближение утра располагало мою душу к тоске. «Не придется ли мне в свою очередь ког­да-нибудь ухаживать за тобой, беспокоиться о тебе, Марселина?» — воскликнул я в глубине души. Я вздрог­нул и, весь цепенея от любви, жалости, нежности, ти­хонько коснулся ее закрытых глаз самым нежным, са­мым влюбленным, самым набожным поцелуем.

IX

Те несколько дней, что мы прожили в Сорренто, бы­ли радостны и очень спокойны. Вкушал ли я когда-ни­будь такой покой, такое счастье? Испытаю ли это ког­да-нибудь еще? Я был непрерывно подле Марселины. Занимаясь больше ею, чем собою, я испытывал от бесе­ды с нею такую радость, как от молчания предыдущих дней.

Сначала я был удивлен, почувствовав, что нашу бро­дячую жизнь, как я думал, вполне меня удовлетворяю­щую, она принимала лишь как нечто временное; но сра­зу же я понял бездеятельность этой жизни; я признал, что она должна быть временной, и в первый раз жела­ние работать, порожденное долгим бездельем и моим окрепшим здоровьем, заставило меня заговорить серь­езно о возвращении; по той радости, которую выказала Марселина, я понял, что она давно думала об этом.

Между тем, некоторые труды по истории, о которых я снова стал подумывать, утратили для меня свою при­влекательность. Я вам уже говорил, что со времени моей болезни отвлеченное и равнодушное познание прошлого казалось мне пустым. И если прежде я мог заниматься филологическими изысканиями, стараясь, например, определить степень готского влияния на из­менение латинского языка и, пренебрежительно отво­рачиваясь от образов Теодориха, Кассиодора, Амала- сунты и их поразительных страстей, восхищался лишь следами, памятниками, оставшимися от их жизни, — те­перь эти самые следы и вся филология в целом стали для меня средством проникновения в открывшееся мне дикое величие и благородство. Я решил серьезно за­няться эпохой и ограничиться на некоторое время изу­чением последних лет готского владычества, восполь­зовавшись предстоящей нам остановкой в Равенне, ко­торая была главной ареной этой трагедии.

Признаться ли вам, меня больше всего привлекал образ юного короля Аталариха. Я представлял себе пят­надцатилетнего мальчика, глухо подстрекаемого гота­ми на возмущение против матери его Амаласунты; представлял, как он брыкается против своего латинско­го воспитания, сбрасывает культуру, как жеребец сбра­сывает стесняющую его сбрую, предпочитая обществу слишком мудрого и старого Кассиодора грубых готов; как он в обществе жестких своих сверстников-любим­цев вкушает несколько лет бурной, страстной и разнуз­данной жизни, чтоб окончательно испорченным и по­грязшим в разврате умереть в восемнадцать лет. Я на­ходил в этом трагическом порыве к более дикой цель­ной жизни что-то общее с тем, что Марселина, улыбаясь, называла «моим переломом». Я искал в этом удовлетворение для своего ума, раз я не занимал этим своей плоти; и в ужасной смерти Аталариха я изо всех сил старался найти жизненный урок.

Перед Равенной, где мы должны были поселиться на две недели, мы решили быстро осмотреть Рим и Флоренцию, потом, не заезжая в Венецию и Верону, по­спешить уже без всяких остановок в Париж. Мне до­ставляли какое-то совсем новое удовольствие разгово­ры о будущем с Марселиной; была еще некоторая неу­веренность в вопросе о лете; мы оба устали от путеше­ствий, и нам не хотелось снова уезжать; мне хотелось полнейшего покоя для моих занятий; и мы вспоминали об одном доходном имении между Лизье и Пон-Леве­ком в самой лесистой части Нормандии: это имение принадлежало когда-то моей матери, и я с ней несколь­ко раз в детстве проводил там лето, но после ее смер­ти больше туда не возвращался. Мой отец поручил за­ведывание этим имением старому управляющему, кото­рый взимал в нашу пользу арендную плату с фермеров и аккуратно нам ее высылал. У меня сохранились чу­десные воспоминания о большом и очень удобном до­ме, окруженном садом с ручьями; имение называлось Ла Мориньер; я подумал, что там было бы приятно по­жить.

Я замышлял провести следующую зиму в Риме, но уже не в качестве путешественника, а ради научной ра­боты... Но этот план быстро рухнул: в числе важных пи­сем, давно ожидавших нас в Неаполе, было одно, в ко­тором внезапно мне сообщили о том, что мое имя уси­ленно называлось в связи с вакантной кафедрой в Ко- леж де Франс; это было только заместительство, но именно оно должно мне предоставить в будущем боль­шую свободу; приятель, сообщавший мне это, указывал несколько нетрудных шагов, которые надо было пред­принять в случае моего согласия, и очень уговаривал меня принять эту должность. Я колебался, видя в этом прежде всего рабство; потом подумал, что было бы ин­тересно изложить в виде лекций мою работу о Кассио­доре... В конце концов, меня убедила мысль об удоволь­

ствии, которое я этим доставлю Марселине. И, как только я принял решение, я стал видеть в нем одни лишь хорошие стороны.

В ученом мире Рима и Флоренции мой отец поддер­живал связи, а я был в переписке с некоторыми его зна­комыми. Они дали мне возможность произвести нуж­ные мне разыскания в Равенне и других местах; в эти дни я думал только о работе. Марселина старалась об­легчить мне ее тысячами милых и трогательных забот обо мне. Наше счастье в конце этого путешествия бы­ло таким ровным и спокойным, что я ничего не могу рассказать о нем. Лучшие человеческие творения неиз­бежно дышат скорбью. Чем был бы рассказ о счастье? Лишь то, что подготовляет его, потом то, что его разру­шает, подлежит рассказу.

И теперь я рассказал вам все, что его подготовило.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Мы приехали в Ла Мориньер в первых числах июля, остановившись в Париже лишь на столько времени, сколько потребовали необходимые покупки и кое-ка­кие визиты.

Как я уже говорил вам, Ла Мориньер расположен между Лизье и Пон-Левеком, в самом мокром месте, какое я знаю. Ряд узких и мягко изогнутых лощинок тя­нется до очень широкой Ожской долины, которая поло­го спускается к самому морю. Никакого горизонта; та­инственные лесные чащи; кое-где поля, но особенно много лугов; пажитей на мягких склонах, где густую траву косят два раза в год, где сливаются тени от мно­жества яблонь в часы заката *и где* пасутся свободные стада; в каждом углублении — вода; пруд, болото и ре­чка; непрерывно слышно журчанье.

Ах, как легко я узнал этот дом, голубую крышу, кир­пичные и каменные стены, наполненные водою рвы, от­ражения в спящей воде... Это был старый дом, в кото­ром могло бы поместиться больше двадцати человек. Нам с Марселиной и тремя слугами было трудно, хотя я иногда и помогал этому, оживить хотя бы часть дома; наш старый управляющий, которого звали Бокаж, при­готовил уже для нас, как мог, несколько комнат; ме­бель просыпалась от двадцатилетнего сна; все остава­лось таким, каким оно жило в моей памяти; отделка не слишком обветшала, и комнаты были совсем жилыми. Чтобы лучше нас принять, Бокаж наполнил цветами все вазы, какие нашел. Он велел выполоть и вычистить внутренний двор и ближайшие к дому аллеи парка. Ког­да мы подъезжали, дом был освещен последними луча­ми солнца, и к нему поднимался из долины неподвиж­ный туман, одновременно скрывающий реку, выдавая ее. Еще не доехав до места, я вдруг узнал запах травы, и когда я снова услышал вокруг дома пронзительные крики ласточек, внезапно встало передо мной все про­шлое, будто оно ожидало меня и, узнав, захотело со­мкнуться при моем приближении.

Через несколько дней дом стал почти совсем обита­емым; я мог бы уже приняться за работу; я медлил, при­слушиваясь к подробно напоминающему о себе прошло­му, потом вскоре отдавшись слишком новому волне­нию: через неделю после нашего приезда Марселина призналась мне, что она беременна.

С тех пор мне стало казаться, что я обязан окружить ее новыми заботами и что она имеет право на большую нежность; по крайней мере, первое время после того, как она доверила мне это, я проводил подле нее почти целые дни.

Мы направлялись с ней к лесу и садились на ту ска­мейку, на которой я когда-то сиживал с матерью; там каждое мгновение нам казалось сладостнее и более не­заметно текли часы. От этого периода моей жизни у ме­ня не сохранилось ни одного отчетливого воспомина­ния, и это не потому, что я менее благодарен ему, — но только потому, что все смешивалось, сливалось в одно общее чувство благосостояния: вечер сменялся утром без резкого разрыва и дни без неожиданностей сплета­лись с днями.

Я постепенно принялся за свою работу со спокой­ной, ясной душой, уверенный в своей силе, глядя довер­чиво и без волнения на будущее с как бы смягченной волей и прислушиваясь к советам этой мягкой природы.

«Нет никакого сомнения, — думал я, — что пример этой земли, где все готовится к плоду, к полезной жат­ве, окажет на меня превосходное влияние». Я восхи­щался спокойным будущим, которое обещали эти мощ­ные быки, эти тельные коровы на обильных лугах. Пра­вильно рассаженные на удобных склонах холмов ябло­ни сулили в это лето превосходный урожай; я мечтал о богатом грузе плодов, под которыми скоро склонятся их ветви. В этом упорядоченном обилии, в этом радост­ном подчинении, в этих веселых всходах гармонии не случайная, а установленная, красота человеческая и вместе с тем природная, и непонятно было, чем восхи­щаешься, до такой степени сочетались в совершенном согласии плодоносный взрыв свободной природы и умелое усилие человека, управлявшего ею. Чем было бы это усилие, думал я, без могучей, дикой мощи, кото­рую оно обуздывает? Чем был бы дикий порыв бьющих через край соков без разумного усилия, которое сдер­живает их и смеясь приводит к изобилию? И я преда­вался мечтам о странах, где силы были бы так напряже­ны, всякий расход так возмещен, всякий обмен так то­чен, что малейший убыток был бы ощутим; потом, при­меняя мои мечты к жизни, я строил систему нравственности в виде науки о наилучшем применении своих сил, управляемых сдерживающим разумом.

Куда уходило, где пряталось тогда мое недавнее буйство? Я был так спокоен, что, казалось, его никогда не было. Волна моей любви залила его без остатка...

Между тем, старый Бокаж изо всех сил старался; он распоряжался, следил, советовал; до крайности чувст­вовалось его желание казаться необходимым. Чтобы его не обижать, приходилось проверять его счета, слу­шать без конца его бесконечные объяснения. Но и это­го ему было недостаточно; мне приходилось сопровож­дать его в поля. Его прописная добросовестность, его постоянные разговоры, явное довольство собой, выстав­ление напоказ своей честности — все это через неко­торое время мне наскучило; он становился все более и более назойливым, и все средства казались мне хоро­ши, чтобы снова добиться покоя, — когда вдруг неожи­данное событие изменило мои с ним отношения. Од­нажды вечером Бокаж сообщил мне, что ждет завтра своего сына Шарля.

— А, — сказал я равнодушно, не особенно интересу­ясь детьми, которые могли быть у Бокажа; потом, видя, что мое равнодушие его огорчает и что он ждет от ме­ня выражения некоторого интереса или удивления, я спросил:

— А где он сейчас?

— На одной образцовой ферме около Алансона, — ответил Бокаж.

— Ему должно быть теперь около... — продолжал я, словно прикидывая возраст этого сына, о существова­нии которого я до сих пор не подозревал, и достаточно растягивая слова, чтобы он мог меня перебить...

— Семнадцать лет, — продолжал Бокаж, — ему бы­ло немного больше четырех, когда скончалась ваша ма­тушка. О, он большой парень теперь; скоро он будет ум­нее своего отца... — И, раз начав говорить, Бокаж не мог уже больше остановиться, как ни явно показывал я ему знаки усталости.

На следующий день я успел уж забыть об этом, как вдруг под вечер только что приехавший Шарль появил­ся засвидетельствовать Марселине и мне почтение. Это был красивый малый такого цветущего здоровья, такой гибкий и так хорошо сложенный, что даже ужасное го­родское платье, которое он надел в нашу честь, не мог­ло сделать его слишком смешным; его застенчивость слегка усиливала его природный румянец. Ему можно было дать не больше пятнадцати лет — настолько его взгляд сохранил детское выражение; он объяснялся сво­бодно, без ложного стыда, и в противоположность отцу не болтал без толку. Я не помню, о чем мы говорили в первый вечер; занятый тем, что разглядывал его, я не находил, что сказать ему, и предоставлял Марселине с ним разговаривать. Но на следующий день я в первый раз не стал ждать, чтоб старик Бокаж зашел за мной и повел на ферму, где, как я знал, были начаты работы.

Надо было починить бассейн. Бассейн этот, обшир­ный, как пруд, дал течь; место течи было известно, и его должны были залить цементом. Надо было прежде всего спустить воду из бассейна, чего не делалось це­лых пятнадцать лет. В нем в изобилии водились карпы и лини, некоторые очень большие, не всплывавшие на поверхность. Мне хотелось развести их во рвах и оде­лить ими рабочих, чтобы таким образом удовольствие рыбной ловли присоединилось на этот раз к работе; это вызвало необычайное оживление на ферме; из окрест­ностей пришло несколько детей и смешалось с рабочи­ми. Даже Марселина должна была попозже присоеди­ниться к нам.

Вода уже давно стала понижаться, когда я пришел. Порой сильная рябь морщила ее поверхность, *и* просве­чивали коричневые спины потревоженных рыб. Дети, плескавшиеся в прибрежных лужах, ловили блестящую рыбешку и бросали ее в ведро с чистой водой. Вода, ко­торую окончательно замутило волнение рыб, была зем­листого цвета и с каждой секундой становилась все темнее. Обилие рыб превзошло все ожидания, четверо работников с фермы вытаскивали их, опуская наудачу руки. Я жалел о том, что Марселина запаздывает, и уже собирался сбегать за ней, когда вдруг кто-то закричал, что появились утри. Их не удавалось схватить, они вы­скальзывали из рук. Шарль, который до тех пор стоял на берегу возле своего отца, не выдержал; он вдруг снял башмаки, носки, скинул куртку *и* жилет, затем, высоко закатав штаны и рукава рубашки, храбро влез в тину. Я тотчас же последовал за ним.

— Ну, Шарль, — крикнул я, — не правда ли, вы хоро­шо сделали, что приехали вчера?

Он ничего не ответил, но посмотрел на меня, сме­ясь, уже сильно увлеченный рыбной ловлей. Вскоре я попросил его помочь мне изловить большого угря; мы соединили наши руки, чтобы схватить его... Покончив с этим, мы принялись за другого; тина перепачкала наши лица; порой мы внезапно проваливались, и вода доходи­ла нам до икр; скоро мы промокли насквозь. В пылу иг­ры мы едва обменивались немногими восклицаниями, немногими словами, но под конец дня я заметил, что го­ворю «ты» Шарлю, не зная сам, как это началось. Это общее занятие ближе нас познакомило друг с другом, чем мог сделать долгий разговор. Марселина все не приходила, и так и не пришла, но я уже не жалел об ее отсутствии; мне казалось, что она немного помешала бы нашей радости.

На следующее утро я уже пошел на ферму за Шар­лем. Мы направились вместе к лесу.

Я плохо знал свои владения и не очень старался их узнать; поэтому я был весьма удивлен, увидев, что Шарль отлично их знает, так же как и все, касающееся аренды; он сообщил мне, — я едва подозревал это, — что у меня шесть фермеров и я мог бы получать от ше­стнадцати до восемнадцати тысяч франков арендной платы, а если я получал только половину, то это пото­му, что все поглощали всяческий ремонт и оплата по­средников. Улыбка, с которой он подчас поглядывал на засеянные поля, скоро заставила меня усомниться в том, что обработка моих владений так превосходна, как я сначала думал, судя по словам Бокажа: я стал наво­дить Шарля на эти темы, и тот практический склад ума, который меня раздражал в Бокаже, почему-то был мне приятен в этом мальчике. Мы стали гулять вместе каж­дый день, поместье было обширно, и, хорошенько ос­мотрев все его уголки, мы начали сначала, но уже бо­лее систематически. Шарль не скрывал от меня своего раздражения при виде некоторых плохо обработанных полей, пустырей, заросших дроком, чертополохом, вся­кими сорными травами; он заразил меня ненавистью к земле под паром и сумел внушить мне мечту о более высоких способах обработки.

— Но, — возражал я ему сначала, — ведь никто не страдает от этой плохой обработки. Только фермер, не правда ли? Если даже изменится доход с его фермы, ведь это не изменит аренды.

Шарль начинал сердиться:

— Вы в этом ничего не понимаете, — позволял он себе ответить, на что я тотчас начинал смеяться. — Бе­ря в расчет только доход, вы не замечаете, что капитал от этого страдает. Ваша земля из-за плохой обработки постепенно обесценивается.

— Если бы она могла при лучшей обработке прино­сить больший доход, сомневаюсь, чтобы арендатор не сделал всего от него зависящего; я знаю, он слишком корыстен, чтобы не извлечь все, что возможно.

— Вы не учитываете, — продолжал Шарль, — что это требует добавочной рабочей силы. Часто земля ле­жит далеко от фермы. Ее обработка ничего или почти ничего не принесла бы, но по крайней мере сама земля не портилась бы...

И беседа продолжалась. Иной раз в течение часа, шагая по полям, мы повторяли все одно и то же; но я прислушивался и понемногу учился.

— В конце концов, это дело твоего отца, — сказал я ему однажды с раздражением. Шарль слегка покрас­нел.

— Мой отец стар, — отвечал он. — У него и так мно­го дела; ему приходится следить за выполнением дого­воров, за ремонтом построек, за правильным поступле­нием арендной платы. Не его дело здесь что-нибудь ме­нять.

— А ты какие предложил бы перемены? — продол­жал я.

Но он только отнекивался, уверяя, что мало в этом понимает, и лишь после долгих настояний я заставил его сказать то, что он думает.

— Отобрать у фермеров все земли, которые они не обрабатывают, — посоветовал он. — Если фермеры ос­тавляют часть своих полей под паром, это доказывает, что у них больше земли, чем они могут оплатить; а ес­ли они захотят сохранить ее всю, повысьте арендную плату. Они все здесь лентяи, — добавил он.

Из шести моих ферм я охотнее всего заходил на ту, которая была расположена на холме, господствую­щем на Ла Мориньер; она называлась Ла Вальтри; арендатор, занимавший ее, не был мне антипатичен, и я охотно беседовал с ним. Ближе к Ла Мориньер на­ходилась ферма, называвшаяся «Замковой фермой», сданная с половины по системе полуаренды, что по­зволяло Бокажу, ввиду отсутствия владельца, распо­ряжаться частью скота. Теперь, когда во мне зароди­лось недоверие, я начал подозревать даже самого че­стного Бокажа в том, что, если он и не сам надувает меня, то по меньшей мере позволяет надувать меня другим. Правда, мне были предоставлены конюшни и коровник, но мне начало казаться, что это сделано лишь для того, чтобы фермер мог кормить своих ко­ров моим овсом и сеном. До тех пор я добродушно вы­слушивал самые неправдоподобные новости, которые мне сообщал Бокаж: падежи, прирожденные уродст­ва, болезни — я всему этому верил. Мне еще не при­ходило в голову, что стоило одной из фермерских ко­ров заболеть, чтобы стать моей коровой, или моей ко­рове быть совсем здоровой, чтобы тотчас стать фер­мерской; однако несколько личных наблюдений кое-что разъяснили мне; потом, уже насторожившись, я пошел быстро по этому пути.

Марселина, которой я сообщил свои предположе­ния, аккуратно проверила все счета, но не нашла в них ни одной погрешности; счета были убежищем честно­сти Бокажа. — Что делать? — Махнуть рукой. — Но те­перь я с глухим раздражением наблюдал за лошадьми и коровами, не слишком это показывая.

У меня было четыре лошади и десять коров; этого было достаточно, чтобы меня терзать. Одну из моих че­тырех лошадей все еще называли «жеребенком», хотя ей было уже больше трех лет; ее в это время выезжа­ли; это начинало меня интересовать, но в один прекрас­ный день мне пришли сказать, что с ним абсолютно нельзя справиться, никогда ничего нельзя будет сделать и что самое лучшее для меня будет избавиться от этого жеребенка. Как бы для того, чтобы опровергнуть мои возможные сомнения, ему дали разбить передок тележ­ки и раскровянить себе ноги под коленями.

Мне было трудно в этот день сохранить спокойст­вие, и меня удерживало только то, что я стеснялся Бо­кажа. «В конце концов, — думал я, — он больше грешит слабостью, чем злой волей, а виноваты слуги; но они не чувствуют никакой узды».

Я вышел во двор посмотреть жеребенка. Слуга, дер­жавший и бивший его, при моем приближении стал его ласкать; я сделал вид, что ничего не заметил. Я не очень знал толк в лошадях, но этот жеребенок казался мне красивым; он был полукровка, светло-гнедой, изуми­тельно стройный; у него был очень резвый взгляд, гри­ва и хвост почти светлые. Я убедился в том, что он не ранен, потребовал, чтобы перевязали его ссадины, и ушел, не прибавив ни слова.

Вечером, когда я увиделся с Шарлем, я постарался узнать от него, что он думает о жеребенке.

— Я считаю его очень смирным, — сказал он, — но они не умеют с ним обращаться; он совсем сбесится у них.

— А ты бы как за него взялся?

— Не хотите ли доверить его мне на неделю? Я ру­чаюсь за него.

— Что ты с ним станешь делать?

— Вы увидите.

На следующий день Шарль повел жеребенка на луг в то место, где его огибала река и падала тень от вели­колепного орешника; я отправился туда тоже вместе с Марселиной. Это одно из моих самых ярких воспоми­наний. Шарль привязал жеребенка веревкой длиною в несколько метров к крепко вбитому в землю колу. Слишком нервный, жеребенок сначала яростно стал рваться; затем, утомившись и присмирев, он стал бегать по кругу более спокойно; его удивительно упругая рысь ласкала взор и очаровывала как танец. Шарль, стоя в центре круга и перепрыгивая через веревку при каж­дом обороте, возбуждал его или успокаивал голосом; в руках его был длинный хлыст, но я не замечал, чтобы он пользовался им. Все в его фигуре *и* движениях, бла­годаря его молодости и веселью, придавало этой рабо­те вид увлекательной забавы. Вдруг, каким-то образом, он оказался верхом; лошадь замедлила ход, потом оста­новилась; он слегка ее погладил, потом внезапно я уви­дел его уверенно сидящим верхом; он еле держался за гриву, смеялся и, наклонившись, продолжал ласкать животное. Одно мгновение жеребенок начал было бры­каться; теперь он снова шел такой ровной, красивой и гибкой рысью, что я позавидовал Шарлю и сказал ему это.

— Еще несколько дней дрессировки, и седло не бу­дет уже беспокоить его; через две недели даже ваша жена сможет ездить на нем: он будет смирный, как яг­ненок.

Шарль был прав: через несколько дней лошадь до­верчиво позволяла себя гладить, седлать, направлять; и в самом деле, Марселина могла бы кататься на ней, ес­ли бы позволяло состояние ее здоровья.

— Вы должны были бы, сударь, сами испробовать жеребенка, — сказал мне Шарль.

Я ни за что не сделал бы этого один, но Шарль пред­ложил оседлать для себя другую лошадь с фермы; удо­вольствие сопровождать его увлекло меня.

Как я был благодарен моей матери за то, что она во­дила меня в детстве в манеж! Мне помогло воспомина­ние об этих давних уроках. Я не слишком удивился, очутившись верхом на лошади; через несколько секунд у меня прошел всякий страх, и я почувствовал себя вполне удобно. Лошадь Шарля была тяжелее, не поро­дистая, но на вид приятная, особенно потому, что Шарль хорошо держался в седле. Мы усвоили привыч­ку кататься немного каждый день; большей частью мы выезжали рано утром, когда трава была покрыта про­зрачной росой; мы достигали опушки леса; нас обдава­ли брызгами совсем мокрые кусты орешника, которые мы задевали; вдруг открывался горизонт; то была широ­кая Ожская долина; вдали чувствовалось море. Мы ос­танавливались на минуту, не слезая с коней; восходя­щее солнце окрашивало, отодвигало, рассеивало туман; потом мы крупной рысью ехали назад мы немного от­дыхали на ферме; работа едва начиналась; мы наслаж­дались гордой радостью, что мы первые и показываем пример рабочим; потом мы быстро оставляли их, я воз­вращался в Ла Мориньер к тому времени, когда Марсе­лина вставала.

Я приезжал пьяный от воздуха и быстроты, с немно­го онемевшим телом от какой-то сладостной усталости, с душой, полной здоровья, жадности, свежести. Я захо­дил к ней, не снимая верховых сапог, и приносил к ее постели, где она лежала, ожидая меня, запах мокрых листьев; он ей нравился, по ее словам. Она слушала мои рассказы о нашей прогулке, о пробуждении полей, о на­чале работы... И казалось, что она тоже радуется тому, что я живу, как тому, что она сама живет. Вскоре я стал злоупотреблять и этой радостью, наши прогулки стали затягиваться, и иногда я возвращался только к полудню.

Однако я усердно посвящал остаток дня и вечер под­готовке моего курса. Работа моя подвигалась вперед; я был ею доволен и не считал невозможным издать впос­ледствии мои лекции отдельной книгой. По какой-то ес­тественной реакции, в то время как моя жизнь налажи­валась, усваивала определенный порядок, и я с удоволь­ствием налаживал все вокруг себя и руководил им, — я все больше и больше увлекался стародавней этикой го­тов, и в то время, как в своих лекциях со смелостью, в которой меня потом достаточно упрекнули, восторгал­ся дикостью и строил ее апологию, я тогда же стара­тельно пытался победить, если не совсем уничтожить, все то, что могло напомнить мне ее вокруг меня или во мне самом. До каких пределов доводил я эту мудрость или это безумие?

Двое из моих фермеров, срок аренды которых исте­кал к Рождеству, желая возобновить ее, пришли ко мне; надо было, согласно обычаю, подписать бумаги, так называемое «обещание аренды». Так как я был ре­шительно настроен, благодаря доводам Шарля, и воз­бужден ежедневными беседами с ним, я уверенно ожи­дал арендаторов. Они, твердо помня, что арендатора не так легко заменить новым, потребовали сначала сниже­ния арендной платы. Тем сильнее они были поражены, когда я прочел им «обещание», мною самим составлен­ное, где я не только отказывался уменьшить арендную плату, но еще и отбирал у них некоторые участки зем­ли, из которых они, как я полагал, не извлекали ника­кой пользы. Они сначала сделали вид, что принимают это за шутку... «Вы, конечно, шутите? Что вам делать с этими участками? Они ничего не стоят, и если мы с ни­ми ничего не делаем, значит, с ними ничего и сделать нельзя...» Потом, видя, что я говорю серьезно, они зауп­рямились; я заупрямился тоже. Они думали напугать меня, грозя уйти. Я только и ждал этого.

— Хорошо, уходите, если желаете! Я вас не удержи­ваю, — сказал я им, взял обещание аренды и разорвал у них на глазах.

Итак, я остался с более чем ста гектарами земли на руках. Уже некоторое время я подумывал о том, чтобы поручить заведывание ими Бокажу, считая, что этим, хотя и косвенно, я передаю его Шарлю; я воображал также, что сам буду усиленно этим заниматься; впро­чем, я почти не размышлял: самый риск предприятия соблазнял меня. Фермеры должны были уехать только около Рождества, до тех пор мы как-нибудь обернемся. Я сообщил об этом Шарлю; его радость сразу же не по­нравилась мне; он не мог скрыть ее; благодаря этому я еще сильнее почувствовал его чрезмерную молодость. Времени оставалось немного; наступила пора, когда снят урожай и земля свободна д ля запашки. По устано­вившемуся обычаю, работы старого и нового фермера идут непрерывным порядком; первый оставляет свои владения участок за участком, как только снят урожай. Я боялся мести в качестве каких-нибудь проявлений враждебности со стороны обоих уволенных арендато­ров, но они, наоборот, изображали по отношению ко мне полнейшую любезность (я только впоследствии уз­нал, из какой выгоды они это делали). Я пользовался этим, чтобы утром и вечером бродить по их полям, ко­торые должны были скоро ко мне вернуться. Начина­лась осень; пришлось взять больше рабочих, чтобы ус­корить запашку и посев; мы купили бороны, катки, плу­ги; я-разъезжал, наблюдал за работами, руководил ими, радовался тому, что сам распоряжаюсь и властвую.

Тем временем на соседних полях арендаторы нача­ли сбор яблок; яблоки падали, катились в густую траву, их было так много, как еще никогда; не хватало работ­ников; приходили из соседних деревень; их нанимали на неделю; Шарль и я иногда ради забавы помогали им. Некоторые сбивали с веток запоздалые плоды; отдель­но складывали яблоки, которые сами падали от чрез­мерной зрелости, иной раз подгнившие; часто они ле­жали побитые или раздавленные в высокой траве; не было возможности не наступать на них. Терпкий исладкий запах, подымавшийся от полей, смешивался с запахом вспаханной земли.

Осень надвигалась. Утра последних ясных дней — самые свежие, самые прозрачные. Иногда влажный воздух синил даль, еще более отодвигая ее, и превра­щал прогулку в путешествие, неестественная прозрач­ность воздуха приближала горизонт; казалось, его мож­но было задеть крылом; я не знаю, что из двух напол­няло душу большим томлением. Моя работа была поч­ти закончена; по крайней мере я так говорил себе, чтобы иметь больше права отвлекаться от нее. Все вре­мя, которое я не проводил на ферме, я был около Мар­селины. Вместе мы выходили в сад; мы шли медленно; она томно и тяжело опиралась на мою руку; мы сади­лись на скамейку, откуда видна была вся долина, кото­рую вечер заливал светом. Она нежным движением опиралась на мое плечо, и мы так сидели до вечера, без жестов, без слов, чувствуя, как тает в нас день... Каким молчанием умела уже окутываться наша любовь! Это потому, что любовь Марселины была сильнее, чем вы­ражающие ее слова, и я бывал подчас почти тоскливо взволнован этой любовью. Как иногда от дуновения тре­пещет совсем спокойная вода, так можно было про­честь на ее лице самое легкое волнение; таинственно она слушала в себе трепет новой жизни; я наклонялся над ней, как над глубоким и чистым водоемом, в самой глубине которого, насколько хватало зрения, видна бы­ла лишь одна любовь. Ах! Если только это было счастье, я знаю, что с той поры я хотел удержать его, как тщет­но пытаешься удержать между рук убегающую воду; но я уже чувствовал рядом со счастьем что-то другое, что прекрасно расцвечивало нашу любовь, но так, как рас­цвечивает осень.

Осень надвигалась. Роса, с каждым утром все более мокрая, не высыхала на опушке леса; на заре она была белая. Утки на прудах били крыльями; они дико трепы­хались, иногда видно было, как они поднимаются и с резким криком шумно летают над Ла Мориньер. Од­нажды утром они исчезли; Бокаж запер их. Шарль ска­зал мне, что их запирают каждую осень в пору переле­та птиц. Через несколько дней погода переменилась. Как-то вечером вдруг поднялся сильный ветер, сильное, нераздельное дыханье моря, принесшее с севера дождь *и* унесшее перелетных птиц. Состояние здоровья Мар- селины, хлопоты об устройстве новой квартиры, подго­товка к моим первым лекциям — все должно было то­ропить нас в город. Рано начавшаяся плохая погода про­гнала нас.

Правда, из-за работ на ферме я должен был бы вер­нуться туда в ноябре. Я очень досадовал, узнав немые планы Бокажа; он объявил мне о своем желании снова отправить Шарля на образцовую ферму, на которой, как он считал, сыну надо было еще поучиться. Я долго спорил, пустил в ход все доводы, какие только мог при­думать, но не мог его заставить уступить; он согласил­ся только на то, чтобы несколько сократить это обу­ченье, что позволило бы Шарлю вернуться немного раньше. Бокаж не скрывал от меня, что управление дву­мя фермами будет делом не легким; но он сообщил мне, что у него есть в виду два очень надежных кресть­янина, которых он собирался взять к себе на службу; это будут почти фермеры, почти арендаторы, почти ра­бочие; дело было для нашего края слишком новым, что­бы он решался меня очень обнадеживать в смысле ус­пеха; но, говорил он, «ведь вы сами этого захотели». Разговор этот происходил в конце октября. В первых числах ноября мы переехали в Париж.

II

Мы поселились на улице С., около Пасси. Квартира, которую нам подыскал один из братьев Марселины и которую мы осмотрели во время нашего последнего приезда в Париж, была гораздо больше перешедшей ко мне от отца, и Марселину немного беспокоила не толь­ко более высокая плата, но и всякие связанные с квар­тирой расходы. Ее страхам я противопоставлял свое притворное отвращение ко всему, что недоделано; я за­ставлял себя верить в это и намеренно это преувеличи­вал. Конечно, различные расходы по устройству превы­сят наш годовой доход. Но наше уже давно значитель­ное состояние сейчас должно было еще увеличиться; я рассчитывал на свои лекции, на издание моей книги и даже — какое безумие! — на доходы со своих ферм. Поэтому я не останавливался ни перед какими тратами, убеждая себя при каждой из них, что я этим крепче свя­зываю себя, и полагая, что вместе с тем я убиваю вся­кий вкус к бродяжничеству, который я ощущал — или боялся, что ощущаю — в себе.

Первые дни, с утра до ночи, у нас проходили в разъ­ездах по делам; хотя вскоре брат Марселины очень лю­безно предложил взять некоторые из них на себя, Мар­селина быстро почувствовала сильную усталость. По­том, вместо отдыха, который ей был необходим, ей при­шлось, как только мы устроились, принимать гостей за гостями; благодаря отдалению, в котором мы до сих пор жили, они теперь особенно охотно собирались у нас, а Марселина, отвыкшая от света, не умела сокра­щать визиты и не решалась вовсе не принимать; вече­ром я видел ее совсем замученной, и если я не беспо­коился по поводу ее слабости, естественная причина которой мне была известна, то, по крайней мере, я ста­рался ее уменьшить, часто принимая вместо нее, что до­ставляло мне мало удовольствия, а иногда отдавая визи­ты, что доставляло мне удовольствия еще меньше.

Я никогда не был блестящим собеседником. Салон­ное легкомыслие, дух салонов — вещь, которая мне ни­когда не нравилась; правда, я в прежнее время часто бывал в них — но это время было так далеко! Что про­изошло с тех пор? Я чувствовал себя рядом с другими тусклым, скучным, недовольным, стеснительным и вместе с тем стесненным... По несчастной случайности, вы, которых я тогда уже считал единственными моими друзьями, не были в Париже и должны были вернуться еще очень нескоро. Легче ли было бы с вами разгова­ривать? Быть может, вы бы меня лучше поняли, чем я понимал себя сам! Много ли я знал о том, что росло во мне и о чем я вам сегодня рассказываю? Будущее каза­лось мне вполне спокойным, и никогда я не считал се­бя настолько хозяином его, как тогда.

И даже если бы я был проницательнее, какую по­мощь против себя самого мог бы я найти в Гюбере, Дидье, Морисе и стольких других, которых вы знаете и цените не больше, чем я? Очень скоро, увы, я увидел невозможность быть понятым ими. С первых же бесед я увидел, что они как бы заставляют меня играть искус­ственную роль, заставляют, под страхом прослыть при­творщикам, походить на того, кем я, с их точки зрения, был и остался; и для большего удобства я притворно принял мнения и вкусы, которые мне приписывали. Нельзя быть одновременно искренним и казаться им.

Я несколько охотнее встречался с людьми своей про­фессии, археологами и филологами, но в беседах с ни­ми нашел немногим больше удовольствия и волнения, чем в перелистывании хороших исторических справоч­ников. Вначале я еще надеялся найти более непосредст­венное понимание жизни у нескольких романистов и поэтов, но признаться, они его вовсе не обнаружили; мне казалось, что большинство из них не живет, а до­вольствуется тем, что кажется живущим, и еще немно­го — они стали бы рассматривать жизнь, как досадную помеху к сочинительству. Я не мог осуждать их за это; я не утверждаю, что ошибка была не с моей стороны... Впрочем, что я понимал под словом «жить»? — Это как раз то, чему мне хотелось, чтобы меня научили. Все они ловко рассуждали о разных жизненных событиях, но никогда о том, чем эти события определяются.

Что касается нескольких философов, которые дол­жны были бы меня вразумить, я уже давно знал напе­ред, чего можно было ожидать от них; математики или неокантианцы, все они держались возможно дальше от волнующей действительности и интересовались ею не больше, чем математик интересуется реальным сущест­вованием величин, которые он измеряет.

Возвращаясь к Марселине, я не скрывал от нее ску­ки, которую рождали во мне эти встречи.

— Они все похожи друг на друга, — говорил я. — Каждый повторяет соседа. Когда я говорю с одним из них, мне кажется, что я говорю с несколькими.

— Но, мой друг, — отвечала Марселина, — вы не мо­жете требовать от каждого из них, чтоб он отличался от всех остальных.

— Чем больше они похожи между собой, тем боль­ше они отличаются от меня.

И потом я продолжал с печалью:

— Никто из них не сумел быть больным. Они живут так, как будто живут и не знают, что живут. Впрочем, я сам с тех пор, как бываю с ними, больше не живу. На­пример, сегодня что я делал? Я должен был оставить вас с девяти часов; перед уходом я едва поспел почи­тать немного; единственный хороший момент за день. Ваш брат ждал меня у нотариуса, и после нотариуса он уже не отставал от меня; я должен был отправиться с ним к обойщику; он мне мешал у краснодеревца, и я расстался с ним только у Гастона; я позавтракал в той части города с Филиппом, потом встретился с Луи, ко­торый ждал меня в кафе; прослушал с ним глупейшую лекцию Теодора, которого я осыпал похвалами по окон­чании; для того чтобы отказаться от его приглашения на воскресенье, мне пришлось проводить его к Артюру; с Артюром я смотрел выставку акварелей; завез карто­чки к Альбертине и Жюли... Измученный, я возвраща­юсь и застаю вас такой же усталой, как я сам; вы виде­ли Аделину, Марту, Жанну, Софи... и теперь вечером, когда я вспоминаю о всех занятиях этого дня, я чувст­вую, что этот день так напрасен, так пуст, что мне хо­чется схватить его на лету, начать его снова час за ча­сом, — и мне грустно до слез.

Все же я не мог бы сказать, что я подразумевал под словом «жить», и не был ли причиной моего стеснения просто-напросто мой новый вкус к более просторной и свобод ной жизни, менее принужденной и связанной с другими людьми; причина эта казалась мне гораздо та­инственнее; я думал, что это — тайна воскресшего, так как я оставался чужим среди людей, как выходец с то­го света. Вначале я испытывал лишь довольно мучи­тельную растерянность, но скоро появилось совсем но­вое чувство. Я утверждаю, что раньше я не ощущал ни­какой гордости при выходе в свет моих трудов, за ко­торые я получал столько похвал. Чувствовал ли я теперь гордость? Возможно, но к ней, во всяком слу­чае, не примешивалось ни малейшего оттенка тщесла­вия. В первый раз в жизни у меня явилось сознание моей собственной ценности; важно было то, что отде­ляло, отличало меня от других. Мне надо было гово­рить то, чего никто, кроме меня, не говорил и не мог сказать.

Вскоре после этого я начал свой курс; так как меня побуждала к этому сама тема, я вложил в свою первую лекцию всю мою новую страсть. Заговорив о поздней­шей латийской цивилизации, я изобразил тонкую куль­туру, подымающуюся над толщей народа, как некая сек­реция, которая вначале знаменует собою изобилие, из­быток здоровья, потом сразу же застывает, твердеет, сопротивляется полному соприкосновению духа с при­родой *и* скрывает под упорной видимостью жизни ос­лабление самой жизни, создает футляр, в котором тос­кует, прозябает, затем умирает стесненный дух. Сло­вом, развивая до конца свою мысль, я заявил, что куль­тура, рожденная жизнью, убивает жизнь.

Историки осудили мою тенденцию, как они говори­ли, к слишком поспешным обобщениям. Некоторые осудили мой метод; а те, кто хвалил меня, поняли меня еще меньше, чем все другие.

В первый раз я встретил Меналка при выходе из своей аудитории. Я с ним не был близок прежде, а не­задолго до моей женитьбы он снова отправился в одну из своих дальних экспедиций, которые лишали нас его общества нередко на целые годы. Когда-то он мне со­всем не нравился; он казался мне гордецом и не инте­ресовался моей жизнью. Поэтому я был удивлен, уви­дев его на своей первой лекции. Даже его заносчи­вость, которая отталкивала меня от него раньше, понра­вилась мне, а улыбка, с которой он ко мне подошел, показалась мне тем более очаровательной, что я знал, как редко она у него бывает. Совсем недавно нелепый и позорный скандальный процесс послужил предлогом для газет, чтобы забрызгать его грязью; те, которых ос­корбляло его пренебрежение и превосходство, ухвати­лись за этот случай, чтобы отомстить ему; и больше все­го раздражало их то, что он, казалось, не был огорчен этим.

— Надо позволить им выговориться, — отвечал он на оскорбления, — это утешает их в том, что они не мо­гут предъявить ничего лучшего.

Но «хорошее общество» возмутилось, и те, кто, как говорится, «уважает себя», сочли нужным отвернуться от него, ответив на его презрение презрением. Это яв­лялось для меня только лишним поводом: привлекае­мый к нему тайной силой, я подошел и дружески обнял его на глазах у всех.

Увидев, с кем я разговариваю, последние из доку­чавших мне удалились; я остался один с Меналком.

После раздражающей критики и глупейших компли­ментов я почувствовал отдых от немногих его слов по поводу моей лекции.

— Вы сжигаете то, чему поклонялись, — сказал он. — Это хорошо. Вы поздно к этому пришли, зато ог­ню будет больше пищи. Я еще не знаю, хорошо ли я все понял; вы меня заинтересовали. Я не очень разговор­чив, но мне хотелось бы побеседовать с вами. Давайте пообедаем вместе сегодня.

— Дорогой Меналк, — ответил я, — вы, кажется, за­были, что я женат.

— Да, это правда, — продолжал он, — видя сердеч­ную простоту, с которой вы решились подойти ко мне, я мог вообразить, что вы более свободны.

Я испугался, что оскорбил его, но еще более побоял­ся показаться ему слабым; я сказал ему, что приду к не­му после обеда.

Меналк жил в гостинице, так как бывал в Париже всегда только проездом; в свой последний приезд он ве­лел приготовить себе несколько комнат в виде кварти­ры; у него были там собственные слуги, он питался от­дельно, жил отдельно; он затянул стены и закрыл ме­бель, банальное безобразие которой оскорбляло его, драгоценными тканями, привезенными им из Непала и предназначаемыми им, — после того как он, по его соб­ственному выражению, достаточно загрязнит их, — в дар какому-нибудь музею. Я так спешил к нему, что за­стал его еще за столом; и так как я извинился, что пре­рвал его обед, он ответил мне:

— Но я вовсе не собираюсь прерывать его и надеюсь, что вы дадите мне его докончить. Если бы вы пришли к обеду, я бы угостил вас ширазским вином, воспетым Га- физом, но теперь слишком поздно: его можно пить толь­ко натощак; но, может быть, вы выпьете ликера?

Я согласился, думая, что он тоже будет пить; потом, видя, что принесли лишь одну рюмку, я выразил удив­ление.

— Извините меня, — сказал он, — но я почти никог­да не пью.

— Вы боитесь опьянения?

— О, нет, напротив. Но я считаю трезвость более сильным опьянением; я тогда сохраняю ясность мысли.

— И вы подливаете вино другим...

Он улыбнулся и сказал:

— Я не могу от всех требовать своих добродетелей. Хорошо уже, если я нахожу в них свои пороки.

— Вы, по крайней мере, курите?

— Тоже нет. Это безличное, отрицательное опьяне­ние, к тому же слишком легко достижимое; я в опьяне­нии ищу возбуждающего расширения, а не ослабления жизни. Но оставим это. Знаете, откуда я приехал сей­час? Из Бискры. Узнав, что вы только что перед этим были там, я захотел найти следы вашего пребывания. Зачем приехал в Бискру этот слепой эрудит, этот начет­чик? Я соблюдаю скромность лишь по части того, что мне доверили; относительно же того, что я сам узнаю, признаюсь, мое любопытство безгранично. Поэтому я искал, рылся, расспрашивал всюду, где мог. Моя не­скромность сослужила мне службу, так как у меня яви­лось желание вас увидеть; так как вместо ученого рути­нера, которого я видел в вас прежде, я знаю, что дол­жен видеть теперь... вы должны сами сказать кого.

Я почувствовал, что краснею.

— Что же вы узнали обо мне, Меналк?

— Вы хотите знать? Значит, вы не боитесь! Вы до­статочно знаете своих и моих друзей, чтобы быть уве­ренным, что я ни с кем не стану говорить о вас. Вы ви­дели, как была понята ваша лекция.

— Но ничто еще не доказывает мне, что я мог гово­рить с вами больше, чем с другими, — возразил я с лег­ким раздражением. — Ну, что же вы узнали обо мне?

— Прежде всего, что вы были больны.

— Но в этом нет ничего...

— О, это уже очень важно. Потом мне рассказали, что вы охотно гуляли один *и* без книги (вот здесь-то я начал восхищаться); или когда вы были не один, то вы охотнее гуляли с детьми, чем с вашей женой... Не крас­нейте, или я не стану рассказывать продолжение.

— Говорите, не глядя на меня.

— Один из мальчиков, — его зовут Моктир, если я верно запомнил, — красивый, как мало кто, вор и плут, как никто, мог, мне кажется, много порассказать; я при­влек его, купил его доверие, что, как вы знаете, нелег­ко, так как мне кажется, что он лгал и тогда, когда уве­рял, что уже больше не лжет... Скажите же мне, прав­да ли то, что он рассказал мне про вас?

Меналк встал, вынул из ящика маленькую коробоч­ку и открыл ее.

— Эти ножницы ваши? — спросил он, протягивая мне что-то бесформенное, ржавое, затупленное, испор­ченное; однако я без труда узнал маленькие ножницы, которые у меня украл Моктир.

— Да, это они самые, ножницы моей жены.

— Он уверяет, что взял их у вас, когда однажды вы были с ним вдвоем в комнате и отвернулись от него, но самое интересное не это; он утверждает, что в тот мо­мент, когда он прятал их под свой бурнус, он понял, что вы наблюдали за ним в зеркале, и он поймал ваш взгляд следивший за ним. Вы видели, как он крал, и ни­чего не сказали. Моктир был очень удивлен вашим молчанием... я тоже.

— Я не менее удивлен тем, что вы мне рассказыва­ете. Как? Значит, он знал, что я его поймал?

— Не в этом дело; вы пытались перехитрить друг друга; но в этой игре дети нас всегда обыгрывают. Вы думали, что держите его, а на самом деле он держал вас в руках... Не в этом дело. Объясните мне ваше мол­чание.

— Я сам бы хотел, чтобы мне кто-нибудь его объяс­нил.

Мы некоторое время молчали. Меналк, ходивший взад и вперед по комнате, рассеянно зажег папиросу, потом тотчас ее бросил.

— По-видимому, — продолжал он, — есть одно «чув­ство», как говорится, «чувство», которого вы лишены, милый Мишель.

— Может быть, «нравственное чувство»? — сказал я, пробуя улыбнуться.

— О, нет, просто чувство собственности.

— Мне кажется, что оно не очень развито и в вас?

— Его во мне так мало, что здесь, как видите, мне ничто не принадлежит; или даже, вернее, особенно не принадлежит мне постель, в которой я сплю. Мне от­вратителен покой; собственность располагает к нему, и в безопасности засыпаешь. Я достаточно люблю жизнь, чтобы жить бодрствуя, и сохраняю даже в моем богат­стве чувство непрочности, которым я обостряю или по крайней мере волную мою жизнь. Я не хочу сказать, что люблю жизнь полную случайностей, и хочу, чтобы она в любой момент могла потребовать от меня все мое мужество, все счастье и все здоровье.

— Тогда в чем же вы упрекаете меня? — перебил я.

— О, как вы меня плохо поняли, милый Мишель; не глупо ли с моей стороны проповедовать свои убежде­ния! Если я так мало считаюсь с одобрением или пори­цанием других, то не для того, чтобы одобрять или по­рицать в свою очередь; эти слова почти лишены смыс­ла для меня. Я сейчас слишком много говорил о себе; мне показалось, что меня поняли, и это увлекло меня... Я хотел только сказать, что для человека, лишенного чувства собственности, вы обладаете слишком многим; это важно.

— Чего же у меня так много?

— Ничего, если вы говорите таким тоном... Но не начали ли вы ваш курс лекций? Разве у вас нет имения в Нормандии? Разве вы не устроились недавно, и очень роскошно, в Пасси? Вы женаты. Разве вы не ждете ре­бенка?

— Но, — сказал я нетерпеливо, — это просто доказы­вает, что я сумел устроить себе более «опасную» (как вы говорите) жизнь, чем ваша.

— Да, просто, — повторил иронически Меналк, по­том резко повернулся и протянул мне руку.

— Ну, прощайте; на сегодняшний вечер достаточно, и мы ничего лучшего не скажем. Но — до скорого сви­данья.

Некоторое время я не видел его.

Новые хлопоты, новые заботы заняли меня; один итальянский ученый сообщил мне новые открытые им документы, которые я подробно изучал теперь для сво­их лекций. То, что моя первая лекция была плохо поня­та, подстрекнуло мое желание по-иному, лучшим обра­зом осветить следующие; это меня побудило изложить как теорию то, что я решался предлагать раньше лишь как остроумную гипотезу. Сколько людей, утверждав­ших что-либо, обязаны своей силой тому, что, по сча­стью, их не поняли с полуслова! Я признаюсь, что не мо­ту выделить долю упрямства, которая, быть может, при­мешивалась к моему естественному желанию утверж­дать. То новое, что я должен был сказать, показалось мне тем более важным и необходимым', чем труднее было мне говорить и особенно заставить себя понять.

Но увы, насколько слова бледнеют рядом с действи­ем! Жизнь, малейший жест Меналка не были ли в ты­сячу раз красноречивее моих лекций? Ах, как хорошо понял я тогда, что учение великих древних философов, почти целиком нравственное, проявлялось больше на примере, чем в словах.

Я увидел вновь Меналка уже у себя, почти через три недели после нашей первой встречи. Это было в конце слишком многолюдного вечера. Чтобы избежать еже­дневного беспокойства, Марселина и я широко откры­вали свои двери по четвергам вечером: нам таким об­разом было легче закрывать их в другие дни. И вот те, которые называли себя нашими друзьями, приходили каждый четверг; просторность наших гостиных позво­ляла нам принимать их в большом числе, и вечера эти затягивались далеко за полночь. Я думаю, что гостей привлекала восхитительная любезность Марселины и удовольствие разговаривать между собой; что же каса­ется меня, то уже после второго такого вечера мне не­чего было слушать, нечего говорить, и я плохо скрывал скуку. Я переходил из курительной в гостиную, из пе­редней в библиотеку; иногда меня задевала какая-ни­будь фраза, но я мало наблюдал и смотрел, как бы не видя.

Антуан, Этьен и Годфруа, развалясь в изящных крес­лах моей жены, обсуждали последний законопроект, внесенный в Палату депутатов; Гюбер и Луи неосто­рожно перебирали и мяли изумительные офорты из коллекции моего отца. В курительной Матиас, чтобы удобнее слушать Леонарда, положил горящую сигару на стол розового дерева. Рюмка кюрасо была опрокинута на ковер. Альбер, неприлично разлегшийся на диване, пачкал грязными башмаками материю. И пыль, вдыха­емая нами, возникала из отвратительной порчи вещей... Меня охватило яростное желание вытолкать всех моих гостей. Мебель, ткани, гравюры, все теряло для меня ценность после первого пятна; запятнанные вещи — это вещи, пораженные болезнью, как бы обреченные смер­тью. Мне хотелось все охранить, запереть, спрятать для себя. «Как счастлив Меналк, у которого нет ничего сво­его, — думал я. — Я страдаю потому, что хочу сохра­нить. Но что мне, в сущности, за дело до всего этого?» В маленькой, более слабо освещенной гостиной, отде­ленной стеклянной стеной, Марселина принимала на подушках; она была ужасно бледна и показалась мне та­кой усталой, что я вдруг испугался и решил про себя, что этот вечер будет последним. Было уже поздно. Я хотел вынуть часы, как вдруг почувствовал в своем жи­летном кармане маленькие ножницы Моктира.

— Ну, а он, зачем он украл их, чтобы сразу же ис­портить и уничтожить?

В этот момент кто-то слегка ударил меня по плечу; я резко обернулся: это был Меналк.

Он был почти один во фраке. Он только что при­шел. Он попросил меня представить его моей жене; по собственному желанию я бы этого, конечно, не сделал. Меналк был элегантен, почти красив; громадные, сви­сающие, уже седые усы перерезали его пиратское ли­цо; холодное пламя его взгляда выражало скорее му­жество и решительность, чем доброту. Как только он очутился перед Марселиной, я понял, что он ей не по­нравился. После того как они обменялись несколькими банально-любезными словами, я увел его в куритель­ную.

Только что утром я узнал о новом назначении, кото­рое он получил в министерстве колоний; различные га­зеты по этому поводу, вспоминая его полную приклю­чений карьеру, казалось, забыли низкие оскорбления, которыми они осыпали его еще вчера, и не находили достаточных слов для похвалы ему. Они наперерыв раз­дували его заслуги перед родиной, перед человечест­вом, его необычайные открытия в последних экспеди­циях, будто все это он делал единственно из гуманных побуждений; и они восхваляли его самоотверженность, преданность, храбрость так, как если бы он должен был найти награду в этих похвалах.

Я начал его поздравлять; он перебил меня с первых же слов.

— Как, вы тоже, милый Мишель! Вы же меня рань­ше не оскорбляли, — сказал он. — Предоставьте газетам эти глупости. Они, кажется, удивляются нынче, что че­ловек столь обесславленных нравов может еще обла­дать некоторыми достоинствами. Я не признаю для се­бя оговорок и разграничений, которые они хотели бы установить, и существую лишь как нечто целое. Я же­лаю только быть естественным, и в каждом моем по­ступке удовольствие, которое я от него получаю, мне порукою, что я должен был его совершить.

— Это может далеко завести, — сказал я.

— Я на это и рассчитываю, — возразил Меналк. — Ах, если бы все окружающие нас могли убедиться в этом! Но большая часть из них надеется добиться от се­бя чего-нибудь хорошего только принуждением; они нравятся самим себе только искалеченными. Каждый старается меньше всего походить на самого себя. Каж­дый выдумывает себе хозяина, потом подражает ему; он даже не выбирает себе хозяина, которому подража­ет; он принимает уже указанного хозяина. Однако, я ду­маю, что можно иное прочесть в человеке. Но не сме­ют. Не смеют перевернуть страницу. Законы подража­ния; я называю их законами страха. Человек боится ос­таться одиноким; и совсем не находит себя. Эта нравственная агорафобия мне отвратительна; это худ­ший вид трусости. Между тем создает всегда одинокий. Но кто здесь хочет создавать? То, что чувствуешь в се­бе отличного от других, это и есть редкость, которой об­ладаешь; она-то и придает каждому его собственную ценность, и именно это все стараются уничтожить. Под­ражают. И думают, что любят жизнь.

Я не прерывал Меналка; он говорил то же самое, что месяц тому назад я говорил Марселине; итак, мне следовало согласиться с ним. Почему, из какого мало­душия я перебил его и сказал, подражая Марселине, слово в слово ту фразу, которой она тогда меня пре­рвала:

— Вы же не можете, милый Меналк, требовать от каждого, чтобы он отличался от всех остальных...

Меналк сразу замолчал, странно посмотрел на меня, потом, в то время как Эузебий подходил ко мне, чтобы проститься, он бесцеремонно повернулся ко мне спи­ной и заговорил с Гектором о незначительных вещах.

Как только я произнес свою фразу, она показалась мне глупой; и я особенно огорчился тем, что Меналк из-за этого мог подумать, что меня задели его слова. Было поздно, гости расходились. Когда гостиная почти уже опустела, Меналк подошел ко мне и сказал:

— Я не могу расстаться с вами так. Без сомнения, я неправильно понял ваши слова. Позвольте мне, по край­ней мере, надеяться...

— Нет, — ответил я, — вы правильно их поняли... Но они были лишены смысла; едва я произнес их, как уже стал страдать от их глупости, особенно потому, что они должны были в ваших глазах поставить меня как раз в ряды тех, кого вы только что обвиняли и кто мне так же отвратителен, как и вам, я утверждаю это. Я ненави­жу всех принципиальных людей.

— Это, — ответил Меналк со смехом, — самая нена­вистная вещь на свете. От них нельзя ждать никакой искренности, потому что они делают лишь то, что им повелевают делать их принципы, иначе же они смотрят на то, что сделали, как на плохое. От одного подозре­ния, что вы, может быть, в их лагере, я почувствовал, как слова застыли у меня на губах. Печаль, которая тотчас же охватила меня, открыла мне, насколько сильна моя привязанность к вам; я желал, чтобы это оказалось ошибкой, — не привязанность к вам, а мое суждение.

— Действительно, ваше суждение было неверно.

— Ах! не правда ли! — сказал он с живостью, беря меня за руку. — Послушайте, я должен скоро уезжать, но я хотел бы еще повцдать вас. Мое нынешнее путе­шествие будет более продолжительным и полным слу­чайностей, чем другие; я не знаю, когда вернусь. Я дол­жен уехать через две недели; здесь никто не знает, как близок мой отъезд; я только вам сообщаю это. Я уез­жаю рано утром. Ночь перед отъездом всегда для меня полна ужасной тоски. Докажите мне, что вы не принци­пиальный человек; могу ли я рассчитывать, что вы за­хотите провести эту последнюю ночь со мной?

— Но мы увидимся еще до этого, — сказал я немно­го удивленно.

— Нет. Эти две недели я никого не буду принимать; и даже не буду в Париже. Завтра я уезжаю в Будапешт; через шесть дней я должен быть в Риме. Там живут друзья, которых я хочу обнять перед отъездом из Евро­пы. Еще один друг ждет меня в Мадриде.

— Я согласен, я проведу эту ночь бдения с вами.

— И мы будем пить ширазское вино, — сказал Ме­налк.

Через несколько дней после этого вечера Марсели­на стала хуже себя чувствовать. Я уже говорил, что она часто недомогала; но она не любила жаловаться, а так как я приписывал ее недомогание беременности, то оно казалось мне вполне естественным, и я старался не бес­покоиться. Старый, довольно глупый или недостаточно образованный врач сначала нас чрезмерно успокоил. Между тем ее новое недомогание, сопровождаемое жа­ром, заставило меня позвать доктора Т., который счи­тался тогда лучшим специалистом в этой области. Он удивился, что я не позвал его раньше, и предписал точ­ный режим, на который ей следовало бы перейти уже некоторое время тому назад. Из-за своего очень неосто­рожного мужества Марселина до этого дня переутом­лялась; теперь до разрешения от бремени, которое ожидалось в конце января, она должна была лежать. Немного взволнованная и более слабая, чем она в этом хотела признаться, Марселина очень покорно подчини­лась самым стеснительным предписаниям. Все же она оказала кроткое сопротивление, когда Т. прописал ей хину в таких дозах, от которых, она знала, мог постра­дать ее ребенок. В течение трех дней она упорно отка­зывалась принимать ее; потом ей и этому пришлось под­чиниться, так как жар усилился; но сделала она это с большой грустью, словно с мучительным отречением от будущего; какое-то религиозное смирение сломило во­лю, которая поддерживала до сих пор, так что ее состо­яние резко ухудшилось в несколько дней.

Я окружил ее еще большими заботами и, как мог, успокоил ее, ссылаясь на мнение самого Т., не нахо­дившего ничего опасного в ее болезни; но сила ее тре­воги наконец испугала и меня. Ах, как шатко уже тог­да покоилось наше счастье на надежде, — надежде на столь неверное будущее! Я, который прежде любил только прошлое, я был опьянен однажды внезапно сла­достью мгновения — так думал я, — но будущее отни­мает чары у настоящего еще сильнее, чем настоящее отнимает чары у прошлого; а со времени нашей ночи в Сорренто вся моя любовь, вся моя жизнь стремилась к будущему.

Наступил вечер, который я обещал провести с Ме­нянном; и несмотря на то, что мне было неприятно ос­тавлять Марселину на целую зимнюю ночь, я изо всех сил постарался убедить ее в торжественности свидания и в важности моего обещания. Марселине в этот вечер было немного лучше, но все же я беспокоился; сидел­ка сменила меня у ее постели. Но как только я очутил­ся на улице, мое беспокойство вспыхнуло с новой си­лой; я отгонял его, боролся, сердясь на самого себя за то, что не могу освободиться от него. Таким образом я мало-помалу дошел до состояния чрезмерного напряже­ния, до странной восторженности, очень непохожей и все же близкой к мучительному беспокойству, поро­дившему ее, но еще более близкой к счастью. Было по­здно, я шел большими шагами; падал густой снег; я был счастлив, что дышу более свежим воздухом, что бо­рюсь против холода, счастлив в борьбе с ветром, ночью, снегом; я наслаждался своей энергией.

Меналк, услышавший мои шаги, показался на пло­щадке лестницы. Он ждал меня нетерпеливо. Он был бледен и казался взволнованным. Он снял с меня паль­то и заставил переменить мокрые сапоги на мягкие пер­сидские туфли. На столике около камина были приго­товлены лакомства. Две лампы освещали комнату, но менее ярко, чем камин. Меналк прежде всего справил­ся о здоровье Марселины; для упрощения я сказал ему, что она чувствует себя совсем хорошо.

— Вы скоро ждете ребенка? — спросил он.

— Через месяц.

Меналк наклонился к огню, словно желая скрыть лицо. Он молчал. Он так долго молчал, что под конец мне стало совсем неловко, и я тоже не знал, что мне ему сказать. Я встал, сделал несколько шагов, потом, подойдя к нему, положил ему руку на плечо. Тогда, как бы продолжая свою мысль, он прошептал:

— Нужно сделать выбор. Самое важное — знать, че­го хочешь.

— Как! Разве вы не собираетесь уезжать? — спро­сил я его, не будучи уверен в смысле его слов.

— Кажется.

— Разве вы колеблетесь?

— К чему? Вы, у которого есть жена и ребенок, ос­тавайтесь... Из тысячи форм жизни каждый человек может изведать только одну. Безумие — завидовать счастью другого; им нельзя было бы воспользоваться. Счастье не продается готовым, а только по мерке. Я уезжаю завтра; я знаю: я старался выкроить это счастье по своему росту... сохраняйте мирное счастье домашне­го очага.

— Я тоже по своему росту кроил свое счастье! — воскликнул я. — Но я вырос; теперь мое счастье давит меня; иногда я почти задыхаюсь в нем!..

— Ба, вы привыкнете к нему! — сказал Меналк; по­том он встал передо мной, пристально посмотрел мне прямо в глаза, и, так как я ничего не мог сказать ему, он улыбнулся несколько печально и продолжал:

— Думаешь, что ты владеешь, а на самом деле тобой владеют. Налейте себе ширазского вина, милый Ми­шель, вам не часто придется пить его, и возьмите этих розовых сластей, которые персы едят вместе с ним. Се­годня вечером я хочу пить с вами, хочу забыть, что зав­тра уезжаю, и разговаривать так, как если бы эта ночь была долгой... Знаете ли вы, что делает нынешнюю по­эзию и особенно философию мертвой буквой? То, что обе они оторваны от жизни. Греция, — она идеализиро­вала одновременно и жизнь, так что жизнь артиста са­ма уже была поэтическим воплощением; жизнь фило­софа — проведение в дело его философии; смешанная с жизнью, вместо того чтобы чуждаться ее, философия питала поэзию, поэзия выражала философию, и убеди­тельность их была поразительна. Теперь красота боль­ше не действенна; действие не заботится о том, чтобы быть прекрасным, а мудрость живет особняком.

— Почему, — сказал я, — вы, воплощающий в жизнь вашу мудрость, не пишете мемуаров? Или, проще, — прибавил я, заметив его улыбку, — воспоминаний о ва­ших путешествиях?

— Потому что я не хочу вспоминать, — ответил он. — Если бы я делал это, мне бы казалось, что я ме­шаю будущему свершаться и даю власть прошлому. Из совершенного забвения вчерашнего дня я создаю новиз­ну каждого часа. Никогда мне не достаточно того, что­бы был я счастлив. Я не верю в умершее и смешиваю то, чего больше нет, с тем, чего никогда не было.

Меня наконец раздражили эти слова, слишком пред­восхищавшие мою мысль, мне хотелось вернуть его на­зад, остановить, но я тщетно искал возражений; к тому же я сердился на себя еще больше, чем на Меналка. По­этому я молчал. Он то ходил взад и вперед, как дикий зверь в клетке, то наклонялся к огню, то молчал подо­лгу, то вдруг начинал говорить:

— Если бы еще наш ничтожный мозг умел хорошо «бальзамировать» воспоминания! Но они плохо сохра­няются — самые нежные распадаются, самые сладо­страстные гниют; самые прелестные становятся позже самыми опасными. То, в чем раскаиваешься, было сна­чала восхитительным.

Снова долгое молчание; потом он опять говорил:

— Сожаления, угрызения, раскаяния — все это про­шлые радости, которые мы видим со спины. Я не люб­лю смотреть назад, и я далеко за собой оставляю свое прошлое, как птица покидает свою тень, улетая. Ах, Ми­шель, всякая радость ждет нас постоянно, но хочет за­стать ложе пустым, быть единственной, хочет, чтобы человек шел к ней как вдовец. Ах, Мишель, всякая ра­дость похожа на манну пустыни, которая гниет в один день; она похожа на воду Амелейского источника, упо­минаемого Платоном, — воду, которую нельзя было удержать ни в одном сосуде... Пусть каждое мгновение уносит то, что оно принесло с собой.

Меналк говорил еще долго; я не могу пересказать сейчас всех его слов; между тем многие из них тем крепче врезались мне в память, чем скорее мне их хо­телось забыть; не то чтобы они научили меня чему-ни­будь очень новому, но они внезапно обнажали мою мысль, мысль, которую я скрывал под столькими по­кровами, что почти надеялся задушить... Так протекла ночь.

Когда утром, проводив Меналка на поезд, я шел один домой к Марселине, я почувствовал себя полным ужасной печали, ненависти к циничной радости Менал­ка; мне хотелось, чтобы она была притворной; я старал­ся отрицать ее. Я раздражался на то, что ничего не мог ему ответить; я раздражался на то, что сказал несколь­ко слов, из-за которых он мог усомниться в моем сча­стье, в моей любви! И я цеплялся за мое сомнительное счастье, за мое «мирное счастье», как говорил Меналк; увы, я не мог отогнать от него беспокойства, но я ду­мал, что это беспокойство будет пищей любви. Я накло­нялся к будущему, и в нем я видел, как улыбается мне мой маленький ребенок; для него изменялась и крепла моя мораль... Решительно, я шел твердым шагом.

Увы, когда я вернулся домой в то утро, меня в пер­вой же комнате поразил необычный беспорядок. Си­делка вышла ко мне навстречу и в сдержанных словах сообщила мне, что ночью мою жену охватило ужасное волнение, потом начались боли, хотя она и не думала, что наступил срок родов; почувствовав себя очень пло­хо, она послала за доктором; он, хотя и поспешно при­шел ночью, еще до сих пор не оставлял больную; по­том, видя мою бледность, сиделка, мне кажется, захо­тела меня успокоить и стала говорить, что все уже те­перь идет на лад, что... Я бросился в комнату Марселины.

Комната была слабо освещена; сначала я различил только доктора, который движением руки велел мне молчать, потом в темноте еще что-то, чего я не знал. Взволнованно, без шума я подошел к постели. У Мар­селины были закрыты глаза; она была так ужасающе бледна, что сначала я подумал, что она мертва; но, не открывая глаз, она повернула ко мне голову. В темном углу комнаты незнакомая мне женщина убирала, прята­ла различные предметы; я увидел блестящие инстру­менты, вату; я увидел, мне показалось, что я вижу белье в крови... Я почувствовал, что шатаюсь. Я едва не упал около доктора; он поддержал меня. Я понял; я боялся понять...

— А ребенок? — спросил я с тоской.

Он грустно пожал плечами. Не помня себя, я бро­сился к постели, рыдая. Ах, будущее!

Земля вдруг ушла у меня из-под ног; передо мной бы­ла только пустая дыра, которая меня всего поглотила.

Здесь все смешивается в одно туманное воспомина­ние. Вначале, однако, Марселина, казалось, довольно быстро поправлялась. Благодаря рождественским кани­кулам, давшим мне некоторый досуг, я мог проводить около нее почти целые дни. Подле нее я читал, писал или тихонько читал ей вслух. Я никогда не возвращал­ся домой без цветов для нее. Я вспоминал о нежных за­ботах, которыми она окружала меня во время моей бо­лезни, и я окружил ее такой любовью, что иногда она улыбалась от этого, как счастливая. Мы не обменялись ни одним словом о печальном событии, разбившем на­ши надежды...

Потом у нее началось воспаление вен; а когда оно пошло на убыль, внезапная закупорка сосудов постави­ла Марселину между жизнью и смертью. Была ночь. Я вспоминаю себя склонившимся над ней, чувствующим, как вместе с ее сердцем останавливается и мое, затем снова оживает. Сколько ночей бодрствовал я так около нее, — с пристально устремленным взглядом, надеясь силою любви перелить часть моей жизни в нее! И если я больше не думал о счастье, то единственной моей гру­стной радостью было видеть, как иногда улыбалась Марселина.

Мои лекции возобновились. Откуда брал я силы, чтобы приготовлять и читать их?.. Мое воспоминание теряется, и я не знаю, как недели сменялись неделями. Все же я хочу рассказать об одном маленьком событии.

Это было утром, вскоре после закупорки сосудов; сижу около Марселины; ей как будто немного лучше, но ей предписана еще полнейшая неподвижность; она не должна шевелить даже руками. Я наклоняюсь, что­бы дать ей пить; когда она напилась, не успел я еще под­няться, как она еще более слабым от волнения голосом просит меня открыть ящичек, на который указывает взглядом; он тут, на столе; я открываю его; он полон лент, лоскутков, дешевых безделушек. Что она хочет?

Я приношу ящичек к ее постели; одну за другой я вы­нимаю каждую вещь. Это? Это? Нет, еще не то; и я чув­ствую ее легкое беспокойство. «Ах, Марселина, ты хо­чешь эти четки». Она пытается улыбнуться.

— Ты боишься, что я плохо за тобой ухаживаю?

— О, мой друг, — шепчет она.

А я вспоминаю о нашем разговоре в Бискре, об ее робком упреке, когда я отверг то, что она называла «Божьей помощью». Я продолжал несколько сурово:

— Я ведь выздоровел сам, без помощи.

— Я столько молилась за тебя, — отвечает она.

Она говорит это нежно, печально; я чувствую в ее взгляде тоскливую мольбу... Я беру четки и кладу в ее ослабевшую руку, лежащую на простыне. Меня воз­награждает взгляд, полный слез и любви, но я не могу ответить на него; еще мгновение я медлю, не зная, что делать, чувствуя неловкость; наконец, не выдержав, говорю:

— Прощай. — И выхожу из комнаты с враждебным чувством, так, как будто меня выгнали.

Между тем закупорка сосудов серьезно нарушила деятельность ее организма; ужасный сгусток крови, от­брошенный сердцем, утомлял и загружал правое лег­кое, затрудняя дыхание, делал его тяжелым и свистя­щим. Я подумал, что она уже не поправится. Болезнь вошла в Марселину, отныне жила в ней, поставила на ней свое клеймо, запятнала ее. Она стала испорченной вещью.

III

Наступило теплое время года. Как только я закон­чил мой курс, я перевез Марселину в Ла Мориньер, так как доктор утверждал, что непосредственная опасность прошла и для того, чтобы окончательно поправиться, ей нужен только более здоровый воздух. Я тоже очень нуждался в отдыхе. Бессонные ночи, которые я почти без отдыха проводил один около нее, длительное вол­нение и особенно то страдальческое сочувствие, кото­рое во время закупорки сосудов у Марселины застави­ло меня ощущать в самом себе ужасные скачки ее сер­дца, — все это меня так утомило, как если бы я сам пе­ренес болезнь.

Я предпочел бы увезти Марселину в горы; но она выразила живейшее желание снова поехать в Норман­дию, уверяя, что никакой другой климат не будет ей так полезен, и напомнила мне, что мне надо посетить те две фермы, заботу о которых я несколько опрометчиво взвалил на себя. Она убедила меня, чтобы я взял на се­бя ответственность за них и что я перед самим собой обязан добиться каких-нибудь результатов. Как только мы приехали, она заставила меня бежать на поля... Я не знаю, не было ли в ее дружеской настойчивости боль­шей доли самоутверждения, страха, что я почувствую себя недостаточно свободным благодаря заботам, в ко­торых она еще нуждалась и которые привязали бы ме­ня к ней... Впрочем, Марселина поправлялась; кровь снова приливала к ее щекам; и ничто не давало мне та­кого успокоения, как вид ее теперь гораздо менее гру­стной улыбки; я мог безбоязненно оставлять ее.

И вот я вернулся к своим фермам. Там начинался сенокос. От воздуха, напоенного цветеньем и аромата­ми, у меня сначала закружилась голова, как от опьяня­ющего напитка. Мне показалось, что с прошлого года я не дышал или дышал только пылью, — до того проникал в меня этот медовый воздух. С откоса, на котором я присел как пьяный, я видел всю Ла Мориньер; я видел ее голубые крыши, сонные воды прудов; кругом — ско­шенные поля или еще не покрытые травой; подальше излучину ручья; еще дальше леса, в которых я прошлую осень ездил верхом с Шарлем. Приближался звук пес­ни, которую я уже слышал некоторое время; это возвра­щались с сенокоса работники с граблями и вилами на плечах. Я почти всех их узнал, и это неприятно напоми­нало мне, что я здесь не очарованный странник, а хозя­ин. Я подошел, улыбнулся им, поговорил и подробно расспросил каждого из них о его делах. Еще утром Бо­каж осведомил меня о состоянии посевов; впрочем, в своих аккуратных письмах он все время сообщал мне о малейших происшествиях на фермах. Работа на них шла неплохо, гораздо лучше, чем я мог надеяться вна­чале, судя по словам Бокажа. Однако меня ждали для принятия некоторых важных решений, и в течение не­скольких дней я по мере сил всем управлял, без удо­вольствия, но кое-как наполняя этой видимостью рабо­ты мою растерзанную жизнь.

Как только Марселина поправилась настолько, что могла принимать, к нам приехали гостить несколько друзей. Их приветливое и нешумное общество нрави­лось Марселине, но привело к тому, что я еще охотнее, чем прежде, уходил из дому. Я предпочитал общество работников с фермы; мне казалось, что с ними я могу научиться чему-нибудь лучшему; не то, чтобы я их мно­го расспрашивал, нет, но мне трудно выразить радость, которую я испытывал подле них; мне казалось, что я чувствую их насквозь, — и тогда как разговоры наших знакомых были мне уже известны раньше, чем они на­чинали говорить, — один вид этих бедняков приводил меня в непрерывный восторг.

Если вначале они старались подлаживаться ко мне в своих ответах — чего я никогда не делал в своих вопро­сах, — то вскоре они привыкли свободнее чувствовать себя в моем присутствии. Я все ближе сходился с ними. Не довольствуясь тем, что я видел их работу, я захотел видеть их игры; их тупые слова вовсе не интересовали меня, но я присутствовал при их еде, слушал их шутки, любовно наблюдал за их удовольствиями. Это было то­же своего рода «сочувствие», подобное тому, которое заставляло учащенно биться мое сердце во время серд­цебиения у Марселины, это было мгновенное эхо всяко­го чужого ощущения, но не смутное, а точное, острое. Я чувствовал в своих плечах ломоту косаря; я уставал его усталостью; глоток сидра, который он выпивал, утолял жажду; я чувствовал, как он вливается в его горло; од­нажды, натачивая косу, один из них глубоко порезал се­бе большой палец; я почувствовал до костей его боль.

И мне казалось, что таким путем, не одним лишь зрением я воспринимаю окружающую природу, но и не­ким осязанием, возможности которого, благодаря это­му странному «сочувствию», становились неограничен­ными.

Присутствие Бокажа стесняло меня: когда он прихо­дил, мне надо было разыгрывать хозяина, что мне со­всем перестало нравиться. Я еще распоряжался — это было необходимо — и по-своему руководил работника­ми; но я уже не ездил верхом, боясь слишком возвы­шаться над ними. Но несмотря на все предосторожно­сти, которые я принимал, чтоб их не стесняло мое при­сутствие и они не сдерживали себя передо мной, я, как и раньше, был полон дурного любопытства к ним. Су­ществование каждого из них оставалось для меня таин­ственным. Мне все казалось, что часть их жизни была скрыта. И я каждому из них приписывал тайну, кото­рую упорно желал узнать. Я бродил вокруг них, следил, подсматривал. Я привязывался к самым грубым из них, как будто ждал, что из темноты возникнет и откроется для меня озаряющий свет.

Особенно привлекал меня один из них: он был до­вольно красив, высокого роста, не туп, но руководил им только инстинкт, он все делал лишь по внезапному по­рыву и уступал всякому своему мимолетному побужде­нию. Он был не местный; его наняли случайно. Он пре­восходно работал два дня, а на третий напивался до бес­чувствия. Раз ночью я тайком пробрался к нему на се­новал; он валялся на сене и спал тяжелым пьяным сном. Сколько времени я смотрел на него!.. В один прекрас­ный день он так же внезапно исчез, как появился. Мне хотелось узнать, по какой дороге он ушел... В тот же ве­чер я узнал, что Бокаж прогнал его.

Я разозлился на Бокажа и велел позвать его.

— Кажется, вы прогнали Пьера? — начал я. — Поче­му вы это сделали?

Немного удивленный моим гневом, который я, одна­ко. сдерживал, как мог, он сказал:

— Вы бы сами, сударь, не захотели держать у себя дрянного пьяницу, который развращает лучших рабо­чих...

— Я лучше знаю, чем вы, кого я желаю держать.

— Беспутный парень! Никто не знает даже, откуда он явился. У нас это никому не нравилось... Если бы как-нибудь ночью он поджег сеновал, были бы вы до­вольны, сударь?

— В конце концов, это — мое дело, и ферма, кажет­ся, моя; я желаю управлять ею, как мне хочется. В бу­дущем потрудитесь излагать мне основания, по кото­рым вы увольняете людей, прежде, чем это делать.

Бокаж, как я уже упоминал, знал меня с раннего детства; как ни оскорбителен был мой тон, он слишком любил меня, чтобы очень на него рассердиться. Он да­же не особенно всерьез принял все это. Нормандский крестьянин плохо верит тому, причины чего он не по­нимает, иначе говоря, всему тому, что не основано на выгоде. Бокаж просто счел придурью с моей стороны этот выговор.

Все же мне не хотелось кончить разговор на этом порицании, и, чувствуя, что я был слишком резок, я ста­рался придумать, о чем бы поговорить еще.

— Ваш сын Шарль скоро возвращается? — решился я спросить после секундного молчания.

— Я думал, что вы забыли его, сударь, и потому о нем не спрашивали, — ответил Бокаж еще обиженным тоном.

— Забыть его! Как бы я мог забыть его, Бокаж, по­сле всего того, что мы вместе делали в прошлом году? Напротив, я очень рассчитываю на его помощь на фер­мах.

— Вы очень добры, сударь. Шарль должен приехать через неделю.

— Я очень этому рад, Бокаж, — и я отпустил его.

Бокаж почти был прав: я, конечно, не забыл Шарля, но думал о нем очень мало. Как объяснить, что после такой пылкой дружбы я испытывал к нему только пе­чальное равнодушие? Должно быть потому, что мои за­нятия и вкусы стали иными, чем в прошлом году. Мои две фермы, приходилось в этом признаться, интересо­вали меня гораздо меньше, чем люди, которых я нани­мал д ля их обслуживания, а общению с ними присутст­вие Шарля должно было мешать. Он был слишком рас­судителен и слишком заставлял себя уважать. И вот, не­смотря на живое волнение, которое возбуждало во мне воспоминание о нем, я ожидал его возвращения с тре­вогой.

Он вернулся. Ах, как я был прав в своей боязни и как правильно поступал Меналк, отрекаясь от воспо­минаний! Вместо Шарля явился какой-то нелепый гос­подин в смешном котелке. Боже, как он изменился! Неловко и принужденно, я все же старался не слиш­ком холодно ответить на радость, которую он проявил при встрече со мной, но даже эта радость мне не по­нравилась; она была неуклюжей и показалась мне не­искренней. Я принял его в гостиной, и так как было уже темно, я неясно различал его лицо; но когда при­несли лампу, я увидел с отвращением, что он отпустил бакенбарды.

В этот вечер разговор был довольно унылым; затем, зная, что он будет все время проводить на фермах, я в течение недели избегал ездить туда и сидел за своей на­учной работой или с гостями. Потом, когда я стал сно­ва выходить, я был увлечен совсем новым делом.

Лес наполнился дровосеками. Каждый год продава­ли часть его; разделенный на двенадцать равных участ­ков, лес каждый год давал вместе с несколькими пере­росшими деревьями, на рост которых нельзя было уже рассчитывать, двенадцатилетний лесосек, шедший на порубку.

Эта работа производилась зимой; затем, согласно договору, до весны дровосеки должны были очистить участки. Но дядюшка Эртеван, лесоторговец, так нера­диво руководил операцией, что иной раз наступала вес­на, а лес был завален срубленными деревьями; нежные новые побеги тянулись вдоль сухих стволов, и, когда дровосеки наконец очищали лес, они одновременно гу­били много молодых почек.

В этом году небрежность Эртевана перешла все гра­ницы. Ввиду отсутствия других конкурентов, мне при­шлось уступить ему порубку за очень низкую цену; и вот, уверенный в барыше, он не очень-то торопился за­бирать лес, за который так дешево заплатил. С недели на неделю он откладывал работу, объясняя это то отсут­ствием рабочих, то дурной погодой, потом заболевала лошадь, потом надо было платить налоги, потом явля­лась другая работа... всего не перечислить. Так что к се­редине лета ничего еще не было вывезено.

То, что в прошлом году рассердило бы меня в вы­сшей степени, в этом году оставляло меня довольно спокойным; я не скрывал от себя убытка, наносимого мне Эртеваном; но этот порубленный лес был красив, я с удовольствием гулял в нем, следя, наблюдая за дичью, ловя гадюк, а иногда подолгу сидя на каком-нибудь сва­ленном стволе, который, казалось, жил еще, пуская из своих ран зеленые побеги.

Потом, вдруг, в начале августа, Эртеван собрался прислать своих рабочих. Их пришло сразу шесть чело­век, и они рассчитывали кончить работу в десять дней. Часть продажного леса почти примыкала к Ла Вальтри; чтобы облегчить работу дровосеков, я согласился на то, чтоб им доставляли еду с фермы. Поручено это было разбитному парню по имени Бют, который только что вернулся с военной службы насквозь прогнившим, — я говорю о его духе, так как тело его было замечательно здоровым; это был один из тех моих рабочих, с которы­ми я охотно беседовал. Таким образом, я мог с ним ви­деться, не бывая для этого на ферме, потому что имен­но в это время я стал снова выходить. И в течение не­скольких дней я почти не покидал лес, возвращаясь в Ла Мориньер только к завтраку или к обеду, даже час­то к нему опаздывая. Я делал вид, что наблюдал за ра­ботою, на самом же деле смотрел только на рабочих.

Иногда к этим шести дровосекам присоединялись двое сыновей Эртевана, один двадцати, другой пятнад­цати лет, оба стройные, гибкие, с жесткими чертами ли­ца. У них был какой-то иноземный тип, и впоследствии я действительно узнал, что их мать была испанкой. Я сначала удивился, как она могла попасть в эти места, но выяснилось, что Эртеван, бывший в молодости заядлым бродягой, женился на ней в Испании. По этой причине на него у нас косо смотрели. В первый раз я встретил его младшего сына, я это хорошо помню, в сильный дождь; он был один и сидел на самом верху высокой те­леги, нагруженной вязанками хвороста; развалившись на сухих ветвях, он пел или, вернее, завывал какую-то странную песню; ничего подобного ей я никогда еще не слышал в наших краях. Лошади, запряженные в телегу, знали дорогу, и, хотя ими никто не правил, они подви­гались вперед. Я не могу передать вам впечатления, ко­торое произвела на меня эта песня, потому что похо­жие на нее я слышал только в Африке... Мальчуган ка­зался возбужденным и пьяным; когда я проходил, он да­же не взглянул на меня; на следующий день я узнал, что он один из сыновей Эртевана. Именно для того, чтобы снова увидеть его или, по крайней мере, чтобы дож­даться его, я подолгу задерживался на порубке. Скоро весь лес был вывезен. Сыновья Эртевана приходили только три раза. Они держались гордо, и я не мог до­биться от них ни слова.

Бют, напротив, был словоохотлив; я вел себя так, что он скоро понял, о чем со мною можно говорить; с тех пор он перестал стесняться и начал рассказывать все о жителях округи. Я жадно прислушивался к ее тай­нам. Они и превосходили мои ожидания, и не удовлет­воряли меня. Это ли бушевало под поверхностью? Или, быть может, это было тоже новым видом лицемерия? Не все ли равно? Я так же искал ответа у Бюта, как раньше искал его в диких готских хрониках. От его рас­сказов подымалось смутное дыхание бездны; оно уже кружило мне голову, и я тревожно вдыхал его. Прежде всего я узнал от него, что Эртеван живет со своей до­черью. Я боялся, что он перестанет быть откровенным со мной, если я проявлю малейшее осуждение, поэтому я улыбнулся; меня подталкивало любопытство.

— А мать? Она ничего не имеет против?

— Мать! Вот уже двенадцать лет, как она умерла... Он бил ее.

— Сколько их всех?

— Пятеро детей. Вы видели старшего и самого младшего. Есть еще один, которому шестнадцать лет; он хилый и хочет стать священником. Еще есть старшая дочь, и у нее уже двое детей от отца...

Мало-помалу я узнал многое другое, что превраща­ло дом Эртевана в пламенное логово с сильным запа­хом, вокруг которого невольно кружилось мое вообра­жение, как муха вокруг мяса. Однажды вечером стар­ший сын попытался изнасиловать молодую служанку, а так как она сопротивлялась, вмешался отец и помог сы­ну, держа ее своими громадными ручищами; в это вре­мя второй сын этажом выше продолжал мирно читать свои молитвы, а младший, присутствовавший при этой драме, хохотал. Что касается насилия, я охотно верю, что его было не очень трудно совершить, так как Бют еще рассказывал, что через некоторое время служанка, войдя во вкус, попробовала соблазнить молоденького священника.

— И попытка не удалась? — спросил я.

— Он еще держится, но уже не очень крепко, — от­ветил Бют.

— Ты говорил, кажется, что есть еще одна дочь?

— Которая отдается всякому встречному и ничего за это не просит. Когда на нее это находит, она готова сама заплатить. Но только спать с ней в доме отца не следует: изобьет. Он говорит, что в своей семье можно делать, что хочешь, а остальных это не касается. Пьер, тот парень с фермы, которого вы велели прогнать, не хвастался этим, но раз ночью он вышел оттуда с дырой в голове. С этих пор приходится работать в замковом лесу.

Тогда, ободряя его взглядом, я спросил:

— А ты пробовал?

Он из приличия опустил глаза и ответил игриво:

— Случалось.

Потом, быстро подняв глаза, прибавил:

— Малыш Бокажа тоже.

— Какой малыш Бокажа?

— Альсид, тот, что спит на ферме. Разве вы не зна­ете его, сударь?

Я был совершенно поражен, узнав, что у Бокажа есть еще второй сын.

— Правда, — продолжал Бют, — в прошлом году он жил еще у дяди. Но все же удивительно, что вы его еще не встречали в лесу, сударь: он почти каждый вечер браконьерствует.

Бют произнес последние слова, понизив голос. Он пристально посмотрел на меня, и я понял, что мне нуж­но улыбнуться. Тогда Бют, довольный, продолжал:

— Я полагаю, вы прекрасно знаете, сударь, что на ваших землях охотятся. Но ведь лес так велик, что это, право, не приносит убытка...

— Я проявил так мало неудовольствия, что очень ско­ро Бют, осмелевший и, как я теперь думаю, довольный тем, что можно слегка поддеть Бокажа, показал мне в нескольких ямах силки, расставленные Альсидом, а по­том и место в изгороди, откуда я мог почти с полной уверенностью его поймать. Наверху косогора был уз­кий пролом в изгороди, ограничивавшей лес; через не­го-то Альсид и пробирался обыкновенно часов около шести. Бют и я, весело забавляясь, протянули здесь про­волоку и ловко скрыли ее. Потом, заставив меня покля­сться, что я не выдам его, Бют ушел, не желая обнару­живать своего участия. Я спрятался с той стороны отко­са и стал ждать.

Три вечера прождал я напрасно. Я начинал думать, что Бют подшутил надо мной... Наконец на четвертый вечер я слышу приближение очень легких шагов. Мое сердце бьется, и я внезапно познаю жуткое наслажде­ние браконьера... Силок так хорошо расставлен, что Альсид прямо попадает в него. Я вижу, как он сразу же падает, силок захватил его ногу у щиколотки. Он хочет убежать, снова падает, бьется, как дичь. Это скверный мальчишка с зелеными глазами, с волосами, как ку­дель, с плутоватым выражением лица. Он брыкается ногами; потом, крепко схваченный мною, пытается ме­ня укусить и, так как это ему не удается, начинает бро­сать мне в лицо самые необыкновенные ругательства, которые я когда-либо слышал. Под конец я не могу вы­держать и хохочу. Тогда он вдруг останавливается, смотрит на меня и говорит тише:

— Скот этакий, вы меня искалечили.

— Покажи.

Он спускает чулок на деревянный башмак и показы­вает щиколотку, на которой еле заметен слабый, слег­ка розоватый след.

— Это пустяки.

Он слегка улыбается, потом говорит лукаво:

— Вот я расскажу отцу, что вы расставляете силки.

— Черт возьми! Это один из твоих силков.

— Уж конечно, это не вы его расставили.

— Почему же не я?

— Вы не сумели бы так хорошо это сделать. Пока­жите мне, как вы это сделали.

— Научи меня...

— В этот вечер я сильно запоздал к обеду и Марсе­лина беспокоилась, так как никто не знал, где я. Я все же не рассказал ей, что расставил шесть силков и что вместо того, чтобы выбранить Альсида, еще дал ему де­сять су.

На следующий день, когда я отправился вместе с ним осматривать силки, я с восторгом увидел в них двух кроликов; разумеется, я отдал их ему. Охота еще не была разрешена. Что же делал Альсид с этой дичью, которую нельзя было показывать, чтобы не попасться? В этом он не хотел мне признаться. Наконец я узнал, — и все от Бюта, — что Эртеван был скупщиком крадено­го и что младший сын его был посредником между ним и Альсидом. Не удастся ли мне теперь поближе позна­комиться с этой дикой семьей? С какой страстью я бра­коньерствовал!

Я встречался с Альсидом каждый вечер: мы ловили кроликов в большом количестве и даже раз поймали косулю; она была еще полуживой... Я не могу вспом­нить без ужаса радость, с которой убивал ее Альсид. Мы спрятали косулю в верное место, куда должен был прийти за ней ночью сын Эртевана.

С этого времени я менее охотно выходил из дому днем, так как опустошенные леса не так меня привлека­ли. Я даже старался работать; скучная работа без цели, так как, закончив свой курс, я отказался дальше заме­щать кафедру, — неблагодарная работа, от которой от­влекал меня сразу малейший звук песни, малейший шум в деревне; всякий крик становился для меня призывом.

Сколько раз я вскакивал, бросая чтение, и бежал к ок­ну для того, чтобы ничего не увидеть! Сколько раз, вне­запно выходя... Единственное внимание, на которое я был способен, было внимание моих пяти чувств.

Но когда темнело — а в эту пору темнело уже ра­но — наступал наш час, красоты которого я до тех пор не знал; и я выходил, как выходят воры. Я приобрел зоркость ночной птицы. Я восхищался более подвиж­ной и более высокой теперь травою, более густыми де­ревьями. Ночь все отдаляла, отодвигала землю, углуб­ляла всякую поверхность. Самая гладкая дорожка каза­лась опасной. Чувствовалось всюду пробуждение того, что жило сумеречной жизнью.

— Как думает твой отец, где ты сейчас?

— В коровнике, сторожу скот.

Я знал, что Альсид спит там, совсем близко от голу­бей и кур, так как его там на ночь запирали, он выле­зал через дыру в крыше, его одежда еще сохраняла теп­лый запах курятника...

Потом внезапно, как только мы забирали дичь, он проваливался в ночь, как в люк, не попрощавшись, не сказав даже — «до завтра». Я знал, что прежде чем вер­нуться на ферму, где собаки не лаяли на него, он встре­чался с мальчишкой Эртевана и передавал ему свою до­бычу. Но где? Вот этого я при всем желании не мог уз­нать. Угрозы, хитрости ни к чему не приводили; никак не удавалось к Эртевану приблизиться. И я не знаю, в чем больше всего проявлялось мое безумие: в старании доискаться ничтожной тайны, которая все ускользала от меня, или, быть может, в выдумывании этой тайны из любопытства? Но что делал Альсид, расставшись со мной? Шел ли он действительно спать на ферму? Или обманывал фермера? Ах, напрасно я ставил себя в глу­пое положение, я добился только того, что еще умень­шил его уважение к себе и не увеличил его доверия; это меня и бесило, и печалило...

Когда он внезапно исчезал, я оставался в унылом одиночестве; возвращался полями по траве, напоенной росой, я был пьян ночью, дикой жизнью, хаосом и при­ходил промокший, грязный, покрытый листьями. Изда­ли, из спящей Ла Мориньер, указывала мне путь, слов­но спокойный маяк, лампа в моей рабочей комнате, где я, как думала Марселина, запирался, или свет из комна­ты Марселины, которую я убедил, что без ночных про­гулок я не могу заснуть. Это была правда: я ненавидел свою постель и предпочел бы сеновал.

В этом году было очень много дичи. Кролики, зай­цы, фазаны сменяли друг друга. Видя, что все идет как нельзя лучше, Бют через три дня пожелал присоеди­ниться к нам.

На шестой день нашего браконьерства мы из постав­ленных двенадцати силков нашли только два; осталь­ные были похищены в течение дня. Бют попросил у ме­ня пять франков, чтобы купить медной проволоки, так как железная никуда не годилась.

На следующий день я имел удовольствие увидеть свои десять силков в руках у Бокажа, и мне пришлось похвалить его за усердие. Самое неприятное было то, что я в прошлом году неосторожно пообещал платить по пятидесяти сантимов за каждый найденный в лесу силок; и вот, мне пришлось дать пять франков Бокажу. Тем временем Бют покупает на пять франков проволо­ки. Через четыре дня — та же история; снова найдено десять силков. Снова пять франков Бюту; снова пять франков Бокажу. И на мои поздравления по поводу на­ходки он отвечает:

— Это не меня надо поздравлять, а Альсида.

— Вот как!

Слишком сильное удивление может нас выдать; я сдерживаюсь.

— Да, — продолжает Бокаж, — конечно, сударь, я старею и слишком занят фермой. Мальчишка за меня бегает по лесам; он знает их; он хитер и лучше моего знает, где надо искать и находить западни.

— Охотно верю этому, Бокаж.

— И вот из десяти су, которые вы платите, сударь, я пять отдаю ему за каждую западню.

— Конечно, он заслужил их. Двадцать силков за пять дней! Он славно поработал. Теперь держитесь, бра­коньеры! Ручаюсь, что они сделают передышку.

— О, нет, сударь, чем больше ловишь силков, тем больше их находишь. Дичь в этом году дорога, и за те несколько су, что это им стоит...

Меня так хорошо разыграли, что еще немного — и я подумал бы, что Бокаж тоже в заговоре. И досадна мне в этом деле была не тройная торговля Альсида, а то, что он так обманывал меня. И потом, что они с Бю- том делают с деньгами? Я ничего не знаю; я ничего не узнаю об этих существах. Они всегда будут лгать; будут обманывать ради обмана. В этот вечер я дал Бюту не пять, а десять франков: я предупредил его, что это в по­следний раз, и если силки будут унесены, то тем хуже.

На следующий день приходит Бокаж, он кажется очень смущенным; я сразу же смущаюсь не меньше его. Что такое случилось? И Бокаж сообщает мне, что Бют вернулся только утром на ферму, пьяный вдребезги; ед­ва Бокаж успел раскрыть рот, как Бют разразился гру­быми ругательствами, потом бросился на него и уда­рил...

— И вот, — говорит Бокаж, — я пришел спросить вас, сударь, разрешаете ли вы мне, — (он останавлива­ется секунду на этом слове), — разрешаете ли вы мне его уволить?

— Я подумаю об этом, Бокаж. Я очень огорчен, что он нагрубил вам. Я вижу... Дайте мне подумать одному, и возвращайтесь сюда через два часа.

Бокаж удаляется.

Оставить Бюта — значит тяжело оскорбить Бокажа; выгнать Бюта — значит толкнуть его на месть... Все равно; будь что будет; в сущности, я один виновник все­го... И как только Бокаж возвращается, я говорю:

— Вы можете сказать Бюту, что он нам больше не нужен.

После этого я жду. Что делает Бокаж? Что говорит Бют? И только вечером до меня доходят некоторые от­звуки скандала. Бют все рассказал. Я это заключаю из криков, доносящихся из дома Бокажа: бьют маленько­го Альсида. Бокаж сейчас првдет; он приходит; я слы­шу, как приближаются его старческие шаги, и мое сер­дце бьется сильнее, чем прежде из-за дичи. Несносная минута! Будут пущены в ход благородные чувства, мне придется все принимать всерьез. Какое объяснение придумать? Как я плохо разыгрываю свою роль! Ах, я хотел бы от нее отказаться... Бокаж входит. Я абсолют­но ничего не понимаю в том, что он говорит. Это глу­по: я заставляю повторить все снова. Наконец я уразу­мел следующее: он думает, что Бют один виноват; он не улавливает невероятной правды. Чтобы я дал десять франков Бюту, — и ради такой цели! — Бокаж: слишком нормандец, чтобы допустить это. Конечно, Бют украл десять франков, уверяя, что я дал их ему, он прибавля­ет к воровству еще ложь; уловка, чтобы скрыть воров­ство; Бокажа не проведешь такими сказками... О бра­коньерстве нет уж бодьше речи. А Альсида Бокаж бил за то, что он не ночевал дома.

Ну, я спасен! В отношении Бокажа, по крайней ме­ре, благополучно. Что за болван этот Бют! Разумеется, в этот вечер мне не очень хотелось браконьерствовать.

Я думал, что уже все кончено, но через час являет­ся Шарль. Вид у него серьезный; уже издали он кажет­ся еще скучнее своего отца. Подумать, что в прошлом году...

— Ну, Шарль, что-то давно тебя не видно!

— Если бы вы хотели видеть меня, сударь, вам сто­ило только прийти на ферму. У меня, конечно, нет дел в лесах по ночам.

— А! Твой отец тебе рассказал...

— Отец мне ничего не рассказал, потому что он ни­чего не знает. Зачем ему знать в его возрасте, что хо­зяин издевается над ним?

— Осторожнее, Шарль! Ты слишком далеко захо­дишь...

— Ну, конечно, вы хозяин! Можете делать, что хо­тите!

— Шарль, ты прекрасно знаешь, что я ни над кем не издевался, и если я делаю то, что мне нравится, то толь­ко потому, что это мне одному вредит.

Он слегка пожимает плечами.

— Как вы хотите, чтобы охраняли ваши интересы, если вы сами нарушаете их? Вы не можете одновремен­но защищать сторожа и браконьера.

— Почему?

— Потому, что тогда... ах, послушайте, сударь, все это хитро для меня, и просто мне не нравится, что мой хозяин в одной шайке с теми, кого ловят, и портит с ни­ми работу, которая делается для него.

Шарль говорит последние слова уже более уверен­ным голосом. Он держит себя почти благородно. Я за­метил, что он сбрил бакенбарды. К тому же то, что он говорит, довольно справедливо. И так как я молчу (что мне ему сказать?), он продолжает:

— В прошлом году, сударь, вы меня учили, что у че­ловека есть обязанности по отношению к тому, чем он владеет, но теперь вы, кажется, это забыли. Надо отно­ситься серьезно к своим обязанностям и отказаться от игры с ними... или тогда не надо ничем владеть.

Молчание.

— Это все, что ты хотел сказать мне?

— На сегодня все, сударь; но в другой раз, если вы к этому меня принудите, может быть, я приду сказать вам, сударь, что мой отец и я уходим из Ла Мориньер.

И он удалился, низко поклонившись мне. Я едва по­спеваю сообразить и кричу:

— Шарль!

Он прав, черт возьми... О! О! Если это называется — владеть!.. «Шарль!» И я бегу за ним; я нагоняю его в тем­ноте и быстро, как бы для того, чтобы закрепить свое внезапное решение, говорю:

— Ты можешь сообщить своему отцу, что я продаю Ла Мориньер.

Шарль важно кланяется и удаляется, не говоря ни слова.

Все это нелепо! Нелепо!

Марселина в этот день не может выйти к обеду и по­сылает мне сказать, что она нездорова. Я быстро в вол­нении подымаюсь к ней в комнату. Она сразу меня ус­

покаивает. Она надеется, «что это только насморк». Она простудилась.

— Что же, ты не могла что-нибудь надеть?

— Я сразу же надела шаль, как только почувствова­ла озноб.

— Надо было надеть ее до озноба, а не после.

Она смотрит на меня, пробует улыбнуться... Ах, быть может, так плохо начавшийся день предрасполагает ме­ня к тоске. Если бы она мне громко сказала: «Разве ты так дорожишь моей жизнью?» — я бы не отнесся к это­му более внимательно. Решительно, все вокруг меня разваливается; все, за что берется моя рука, не удержи­вается в ней... Я бросаюсь к Марселине и покрываю по­целуями ее бледный лоб... Она уже больше не сдержи­вается *и рыдает у* меня на плече...

— О! Марселина! Марселина! Уедем отсюда. В дру­гом месте я буду тебя Любить так, как любил в Соррен­то... Ты подумала, что я изменился, правда? Но в дру­гом месте ты почувствуешь, что ничто не изменило на­шу любовь...

Я еще не исцелил ее печаль, но как она уже цепля­ется за надежду!..

Была еще ранняя осень, но становилось сыро и хо­лодно, и последние розы гнили, не расцветая. Наши го­сти давно уехали от нас. Марселина чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы позаботиться об уборке до­ма на зиму, и пять дней спустя мы уехали.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

И вот я попробовал еще раз удержать руками свою любовь. Но к чему мне было спокойное счастье? То сча­стье, которое мне давала Марселина и которое вопло­щалось для меня в ней, было похоже на отдых не устав­шего человека. Но так как я чувствовал, что она утоми­лась и нуждается в моей любви, я окутывал ее любовью и притворялся, что делаю это потому, что сам в этом нуждаюсь.

Я нестерпимо чувствовал ее страдание; д ля того что­бы излечить ее от него, я любил ее. Ах, страстные забо­ты! Нежные бессонные ночи! Как другие возбуждают и увеличивают свою веру, усиливая ее внешние проявле­ния, так я развивал свою любовь. И Марселина тотчас же, я уверяю вас, начинала надеяться. Она была еще так молода, а я, как она думала, полн надежд. Мы бежали из Парижа, как будто уезжали в новое свадебное путе­шествие. Но с первого дня путешествия она стала себя гораздо хуже чувствовать; уже в Невшателе нам при­шлось остановиться.

Как я любил это озеро с зелеными берегами, в кото­ром нет ничего альпийского и воды которого, словно воды болота, долго еще тянутся по земле, просачиваясь между камышами. Я нашел для Марселины в очень приличной гостинице комнату с видом на озеро; я не ос­тавлял ее весь день.

Она настолько плохо себя чувствовала, что на сле­дующий день я пригласил доктора из Лозанны. Он со­вершенно напрасно расспрашивал меня, не знаю ли я, были ли в семье моей жены другие случаи туберкуле­за. Я ответил, что были; между тем я знал, что их не бы­ло; но мне было неприятно говорить, что я сам был при­говорен к смерти от туберкулеза и что Марселина ни­когда не болела до того, как стала ухаживать за мной. Я все приписывал закупорке вен, хотя врач видел в этом только случайный повод и утверждал, что болезнь началась гораздо раньше. Он настойчиво рекомендовал свежий воздух высоких Альп, где Марселина, по его уверениям, должна выздороветь; и так как это совпада­ло с моим желанием провести всю зиму в Энгадине, то, как только Марселина достаточно оправилась, чтобы перенести путешествие, мы уехали.

Я вспоминаю о событиях, о каждом дорожном ощу­щении. Погода была холодная и ясная; мы взяли с со­бой самые теплые меха... В Куаре мы почти совсем не могли уснуть из-за непрерывного шума в гостинице. Я бы легко перенес бессонную ночь, так как она бы не утомила меня; но Марселина... И меня не так раздра­жал шум, как то, что из-за него она не могла заснуть. Ей был так необходим сон! На следующий день мы уехали до восхода солнца; мы заказали купе в Куар­ском дилижансе; благодаря хорошо устроенным почто­вым станциям можно добраться до Сан-Морица в один день.

Тифенкастен, Жюлье, Самаден... я помню все, час за часом... совсем иное качество воздуха и его жест­кость; звук колокольчиков у лошадей; свой голод, ос­тановку в полдень у гостиницы; сырое яйцо, которое я распустил в супе, полубелый хлеб и холодок кислого вина, — эта грубая пища была не для Марселины, она почти ничего не могла съесть, кроме нескольких сухих бисквитов, которые я, к счастью, захватил в дорогу. — Я вспоминаю закат дня, быстрый рост теней на лесном склоне; потом еще остановку. Воздух становится все свежее и резче. Когда дилижанс останавливается, по­гружаешься по самое сердце в ночь и прозрачную ти­шину... прозрачную. Нет другого слова. Малейший звук в этой странной прозрачности становится совер­шейным и полнозвучным. Ночью едем дальше. Марсе­лина кашляет... О, неужели она не перестанет кашлять! Я вспоминаю Сусский дилижанс. Мне кажется, что я не так скверно кашлял; она делает слишком большие усилия... Как она слаба и как изменилась; в тени, как теперь, я едва бы ее узнал. Как ее черты вытянулись! Разве прежде были так видны две черные дыры ее ноз­дрей? — О, как ужасно она кашляет! Вот ясный резуль­тат ее ухода за мной! Как отвратительна любовь; в ней прячется всякая зараза; следовало бы любить только сильных. — О, она совсем изнемогает! Скоро ли мы приедем?.. Что она делает?.. Берет платок; подносит его к губам; отворачивается... Ужас! Неужели она тоже будет харкать кровью? Я резко вырываю у нее платок... При слабом свете фонаря я смотрю... Ничего. Но я слишком выдал свое волнение; Марселина грустно пы­тается улыбнуться и шепчет:

— Нет; еще нет.

Наконец мы приезжаем. Давно пора; она едва дер­жится на ногах. Комнаты, которые нам приготовили, мне не нравятся; мы переночуем в них, а завтра перей­дем в другие. Ничто мне не кажется ни достаточно до­рогам, ни слишком хорошим. А так как зимний сезон еще не начался, громадная гостиница почти пуста; я мо­гу выбирать. Я беру две обширные, светлые и просто об­ставленные спальни, к ним примыкает большая гости­ная с широкой стеклянной дверью, в которую видны уродливое голубое озеро и какая-то назойливая гора со слишком лесистыми или слишком голыми склонами. Здесь мы будем есть. Комнаты стоят невероятно доро­го, но не все ли равно? Правда, я уже больше не читаю лекций, но я продаю Ла Мориньер. А там посмотрим... Впрочем, к чему мне деньги? К чему мне все это?.. Я теперь стал сильным. Я думаю, что полная перемена в материальном положении должна так же воспитывать, как полная перемена в состоянии здоровья... Вот Мар­селина — ей нужна роскошь; она слабая... Ах, для нее я хотел бы столько, столько тратить... Во мне одновре­менно просыпалось отвращение к этой роскоши и же­лание ее. Моя чувствительность купалась, плавала в ро­скоши, а потом мне хотелось, чтобы она бежала дт нее как кочевница.

Между тем Марселина поправлялась, и мои посто­янные заботы одерживали победу. Так как ей было трудно есть, я заказывал, чтобы возбуждать ее аппетит, изысканные, соблазнительные блюда; мы пили самые лучшие вина. Я убеждал себя, что они ей очень нрави­лись, настолько меня забавляли эти чужеземные вина, которые мы пробовали каждый день. Это были терпкие рейнские вина; почти сиропообразные токайские, кото­рые опьяняли меня крепким хмелем. Я вспоминаю о странном вине Барба-Гриска; нашлась всего лишь одна его бутылка, и я так и не знаю, оказался ли бы в других бутылках его неожиданный вкус.

Каждый день мы катались в коляске, потом, когда выпал снег, в санях, закутанные по горло в меха. Я возвращался с горящим лицом, очень голодный, по­том меня клонило ко сну; однако я не отказывался от работы и каждый день находил час для размышлений о том, что мне надо сказать. Не было уж больше речи об истории; уже давно мои исторические занятия ин­тересовали меня только, как способ психологическо­го исследования. Я вам рассказывал, как я снова ув­лекся прошлым, когда мне показалось, что я вижу в нем смутные сходства с сегодняшним; я сообразил, что, допрашивая мертвых, я добуду у них тайные ука­зания, как жить... Теперь сам юный Аталарих мог бы выйти из могилы для беседы со мной, — я не стал бы больше слушать прошлого. И как древний ответ мог бы разрешить мой новый вопрос? Что еще может че­ловек? Вот что мне было важно узнать. То, что до сих пор сказал человек, — все ли это, что он мог сказать? Все ли он о себе знает? Остается ли ему только повто­ряться? И каждый день во мне росло смутное ощуще­ние непочатых богатств, до сих пор скрытых, спрятан­ных, задушенных культурой, приличием, нравствен­ностью.

И тогда мне казалось, что я родился для каких-то не­известных открытий; и я необычайно увлекался моими темными изысканиями, для которых — я знал — иска­тель должен отречься и оттолкнуть от себя культуру, приличие, нравственность.

Я доходил до того, что мне в других людях нрави­лись только самые дикие чувства, и сожалел, когда что- нибудь стесняло их проявление. Еще немного — и я стал бы видеть в честности лишь запрет, условность и страх. Мне хотелось бы любить ее, как великую труд­ность; наши нравы придали ей всеобщую и банальную форму контракта. В Швейцарии она составляет часть комфорта. Я понимал, что Марселина в ней нуждается, но я не скрывал от нее нового направления моих мыс­лей. Уже в Невшателе, когда она восхваляла эту чест­ность, которая просачивается там из всех стен и напи­сана на всех лицах, я отвечал ей:

— Мне вполне довольно моей собственной честно­сти; мне отвратительны честные люди. Если мне нече­го бояться их, то и нечему учиться у них. Впрочем, им нечего сказать... Честный швейцарский народ! Ему ни­чего не стоит быть здоровым... Народ без преступле­ний, без истории, без литературы, без искусства... креп­кий розовый куст без терний и без цветов...

То, что этот честный народ мне наскучит, я это уже знал наперед, но через два месяца эта скука стала чем- то вроде бешенства, и я только и думал об отъезде.

Была середина января. Марселине было лучше, го­раздо лучше, постоянный маленький жар, медленно иссушавший ее, прекратился; более свежий румянец заиграл на ее щеках; она снова стала охотно, хотя и не много, ходить и не была, как прежде, вечно усталой. Мне не стоило очень большого труда убедить ее, что она уже извлекла всю возможную пользу из этого то­нического воздуха и ничего не может быть для нее те­перь полезнее Италии, где теплая весна довершит ее выздоровление; особенно же мне не стоило большого труда убедить в этом себя, — до того устал я от этих высот.

А между тем теперь, когда в моей праздности нена­вистное прошлое крепнет, — именно эти воспоминания преследуют меня больше всего. Быстрая езда в санях; юселое хлестанье сухого ветра; комья летящего снега, аппетит; неверные шаги в тумане, причудливая звон­кость голосов, внезапное появление предметов; чтение в запертой теплой гостиной, пейзаж сквозь стекло, за­стылый пейзаж; трагическое ожидание снега; исчезно­вение внешнего мира, сладострастно притаившиеся мысли... О, еще бы побегать на коньках с ней, там, со­всем вдвоем, на чистом маленьком затерянном озере, окруженном лиственницами; потом вернуться с ней до­мой, вечером...

Этот спуск в Италию был для меня головокружите­лен, как падение. Стояла прекрасная погода. По мере того как мы погружались в более теплый и плотный воздух, прямые деревья горных вершин, лиственницы и правильные ели уступали место богатой и мягкой рас­тительности. Мне казалось, что я покидаю абстракцию для жизни, и, хотя стояла зима, мне всюду мерещились ароматы. Ах, как давно мы улыбались лишь одним те­ням! Меня опьяняло мое воздержание, и я был пьян от жажды, как иные пьяны от вина. Запас, накопленный моей жизнью, был изумителен; на пороге этой ласко­вой и манящей земли просыпалась вся моя жадность. Меня наполнял громадный запас любви; иногда из глу­бины плоти он поднимался к моей голове и рождал бес­стыдные мысли.

Эта иллюзия весны длилась недолго. Резкая переме­на высоты могла обмануть меня на мгновение, но, как только мы покинули защищенные берега озер Беллад­жио, Комо, где мы задержались несколько дней, — мы увидели зиму и дождь. Холод, который мы переносили в Энгадине, сухой и легкий в горах, здесь стал влажным и унылым, и мы начали страдать от него. Марселина снова начала кашлять. Тогда, чтобы избежать холода, мы спустились еще южнее; мы оставили Милан для Флоренции, Флоренцию для Рима, Рим ради Неаполя, самого мрачного города в зимний дождь, какой я толь­ко знаю. Я томился несказанной скукой. Мы вернулись в Рим, надеясь за отсутствием тепла найти там хоть по­добие комфорта. На Монте Пинчио мы наняли кварти­ру, чересчур просторную, но с замечательным видом. Уже во Флоренции, недовольные гостиницами, мы сня­ли на три месяца прелестную виллу на Виале деи Коли. Другой пожелал бы поселиться там всегда... Мы не ос­тались там и двадцати дней. При каждой новой останов­ке я, однако, старался устроить все так, как будто бы мы не должны были больше уезжать. Более сильный демон толкал меня... Прибавив к этому, что мы возили с собой не меньше шести сундуков. Один был наполнен только книгами, и за все наше путешествие я не открыл его ни разу.

Я не позволял, чтобы Марселина беспокоилась о на­ших тратах или старалась их уменьшить. Я, конечно, знал, что они чрезмерны и что это не может долго про­должаться. Я перестал рассчитывать на деньги из Ла Мориньер; она совсем перестала приносить доход, *и* Бокаж писал, что все не находит покупателя. Но всякие размышления о будущем меня приводили только еще к большим тратам. «Ах, к чему мне столько денег, когда я останусь один!..» — думал я и наблюдал с тоской и ожиданием, как идет на убыль еще быстрее, чем мое состояние, хрупкая жизнь Марселины.

Хотя она вполне полагалась на мои заботы, все эти быстрые переезда ее утомляли; но еще больше утомлял ее, — сейчас я могу себе в этом признаться, — страх пе­ред моею мыслью.

— Я отлично вижу, — однажды сказала она мне, — я хорошо понимаю вашу теорию, потому что теперь это стало теорией. Она, может быть, прекрасна, — потом прибавила тихо и грустно: — Но она унижает слабых.

— Это то, что нужно, — ответил я сразу же невольно.

Тогда я почувствовал, как от ужаса перед моими жестокими словами это нежное существо сжалось и вздрогнуло... Ах, быть может, вы подумаете, что я не любил Марселину? Я клянусь, что я ее страстно любил. Никогда еще не была она и не казалась мне такой пре­красной. Болезнь делала ее черты более тонкими и как бы экстратичными. Я ее почти не оставлял, окружал непрестанными заботами, защищал, охранял каждое мгновение ее дней и ночей. Как бы чуток ни был ее сон, я старался, чтобы мой был еще более чутким; я сторожил мгновение, когда она засыпала, и просыпал­ся первым. Когда изредка, оставляя ее на час, я уходил один погулять за город или по улице, какая-то любов­ная забота и страх перед ее тоской заставляли меня бы­стро возвращаться; иногда я призывал на помощь свою волю, сопротивлялся этой власти, говорил себе: «Так это все, на что ты способен, лже великий человек!» и заставлял себя затягивать свое отсутствие; но после этого я возвращался, нагруженный цветами, ранними садовыми или оранжерейными... Да, я утверждаю, я нежно любил ее. Но, как бы это выразить... по мере то­го, как я все меньше уважал себя, я все больше почи­тал ее, и кто может счесть, сколько страстей и сколь­ко враждебных мыслей могут одновременно уживать­ся в человеке?..

Плохая погода уже давно прекратилась; весна на­двигалась, и вдруг зацвел миндаль. Это было первое марта. Утром я выхожу на Испанскую площадь. Кресть­яне опустошили все деревенские сады, и белые ветви миндального цвета наполняют корзины торговцев. Я прихожу в такой восторг, что покупаю несколько кус­тов. Трое крестьян относят их ко мне. Я вхожу со всей этой весной. Ветви цепляются за двери, лепестки пада­ют на ковер. Я ставлю цветы всюду, во все вазы; я по­крываю этими белыми ветвями всю гостиную, где Мар- селины в эту минуту нет. Я наперед радуюсь ее радо­сти... Я слышу ее шага. Вот она. Она открывает дверь. Что с ней?.. Она шатается... Она рыдает...

— Что с тобой, моя бедная Марселина?

Я ласкаю ее, покрываю ее нежными поцелуями. Тог­да, как бы прося прощения за свои слезы, она говорит:

— Мне тяжело от запаха этих цветов...

А это был тонкий, едва заметный медовый запах... Не говоря ни слова, я хватаю эти невинные, хрупкие ветви, ломаю их, выношу, бросаю, в ужасе, с налитыми кровью глазами. Ах, если она не может вынести даже такую весну!..

Я часто думаю об этих слезах, и мне кажется теперь, что, чувствуя уже себя обреченной, она оплакивала другие невозможные весны. Я также думаю, что есть сильные радости для сильных и слабые для слабых, ко­торые неспособны вынести сильных радостей. Ее опья­няло самое маленькое удовольствие; немного больше блеска — и она уже не могла его перенести.

То, что она называла счастьем, я называл отдыхом, а я не хотел и не мог отдыхать.

Четыре дня спустя мы уехали в Сорренто. Я был ра­зочарован, не найдя и там тепла. Казалось, что все дро­жало. Непрестанный ветер очень утомлял Марселину. Мы решили остановиться в той же гостинице, как в про­шлую нашу поездку; мы заняли ту же комнату... Мы с удивлением видели под тусклым небом всю лишенную чар декорацию и унылый сад, который нам казался та­ким прелестным, когда в нем бродила наша любовь.

Мы решили добраться морем до Палермо, так как нам хвалили его климат; мы вернулись в Неаполь, отку­да должны были отплыть; там мы еще немного задер­жались. Но в Неаполе, по крайней мере, я не скучал. Неаполь живой город, где прошлое не владеет нами.

Я проводил почти целые дни с Марселиной. По ве­черам она, утомившись, рано ложилась; я сторожил, когда она заснет, и иногда сам ложился, потом, когда по ее ровному дыханию я видел, что она заснула, я вста­вал без шума и одевался в темноте; я убегал на улицу, как вор.

На улицу! О, мне хотелось кричать от восторга! Что мне делать! Не знаю. Небо, днем пасмурное, теперь бы­ло свободно от туч, блестела почти полная луна. Я шел наугад, без цели, без желания, без принуждения. Я на все смотрел новыми глазами; улавливал каждый звук внимательным ухом; вдыхал ночную сырость; прика­сался рукой к вещам; бродил.

В последний наш вечер в Неаполе я затянул распут­ное бродяжничанье. Вернувшись, я застал Марселину в слезах. Она сказала мне, что испугалась, внезапно про­снувшись и почувствовав, что меня нет около нее. Я ус­покоил ее, как мог, объяснил ей свою отлучку и сам дал себе слово больше не оставлять ее. Но в первую же ночь в Палермо я не выдержал; я вышел... Цвели пер­вые апельсинные деревья; малейшее движение воздуха приносило их запах...

Мы пробыли в Палермо только пять дней, потом, сделав большой крюк, вернулись в Таормину, которую нам обоим снова хотелось увидать. Я, кажется, говорил вам, что эта деревня лежит довольно высоко в горах, а станция находится на самом берегу моря. В том же эки­паже, в котором мы приехали в гостиницу, я должен был сразу ехать опять на вокзал за нашими сундуками. Я ехал стоя, чтобы разговаривать с кучером. Это был молоденький сицилиец из Катаны, красивый, как стих Феокрита, яркий, ароматный, сладостный, как плод.

— Com’é bella la Signora![[5]](#footnote-5) — сказал он очарователь­ным голосом, глядя на удаляющуюся Марселину.

— Anche tu sei bello, ragazzo[[6]](#footnote-6), — ответил я; и, так как я стоял наклонившись к нему, я не мог удержаться и почти тотчас же, притянув его к себе, поцеловал. Он не противился и только засмеялся.

— I Frances! sono tutti amanti[[7]](#footnote-7), — сказал он.

— Ma non tutti gli Italiani amati[[8]](#footnote-8), — продолжал я, тоже смеясь... В следующие за этим дни я его искал, но мне не удалось его больше встретить.

Мы уехали из Таормины в Сиракузы. Мы шаг за ша­гом повторяли наше первое путешествие, восходили к началу нашей любви. И как тогда, с недели на неделю, во время нашего первого путешествия, я приближался к выздоровлению, так же точно теперь, с недели на не­делю, по мере того, как мы подвигались на юг, здоровье Марселины все ухудшалось.

В силу какого заблуждения, какого упрямого ослеп­ления, какого добровольного безумия я убеждал себя и особенно старался убедить ее, что ей нужно еще боль­ше света и жары, вспоминая о моем исцелении в Биск­ре!.. Тем временем в воздухе становилось теплее; Па­лермский залив ласков, и Марселине там было хорошо. Там, быть может, она бы... Но разве я был господином своей воли, своих решений и желаний?

В Сиракузах, из-за бурной погоды и шаткости рас­писания пароходных рейсов, нам пришлось задержать­ся на неделю. Все мгновения, которые я не посвящал Марселине, я проводил в старом порту. Маленький Сиракузский порт! Запах кислого вина, грязные улич­ки, вонючий трактир, в котором валяются грузчики, бродяги, пьяные матросы... Компания самых послед­них людей была для меня сладостна. К чему мне было понимать их язык, когда я всем телом наслаждался! Грубость страсти еще принимала в моих глазах лице­мерный облик здоровья, силы. И я напрасно убеждал себя в том, что их жалкая жизнь не может представ­лять для них такой прелести, как для меня... Ах, мне хотелось валяться с ними вместе под столом и просы­паться от унылой утренней дрожи. После этих людей во мне пробуждалось и росло все увеличивающееся отвращение к роскоши, комфорту, ко всему, чем я прежде себя окружал, ко всей той самозащите, кото­рую вернувшееся ко мне здоровье делало теперь из­лишней, ко всем мерам предосторожности, принимае­мым для хранения тела от опасных прикосновений жизни. Я заглядывал вперед в их жизнь. Мне хотелось проследить за ними дальше, проникнуть в их опьяне­ние... Потом вдруг я вспомнил Марселину. Что она де­лает в эту минуту? Страдает, плачет, быть может... Я торопливо вставал; бежал; возвращался в гостиницу, и мне казалось, что на дверях написано: «Беднякам вход воспрещается».

Марселина встречала меня всегда ровно; без едино­го слова упрека или сомнения, несмотря на все стара­ясь улыбнуться. Мы ели отдельно; я заказывал для нее все, что было лучшего в этой неважной гостинице, и во время еды думал: «Им достаточно куска хлеба с сыром, пучка укропа, и мне этого было бы достаточно, как им. Быть может, здесь, совсем близко, есть голодные, у ко­торых нет даже этой жалкой пищи... А на моем столе ее столько, что можно от нее на три дня опьянеть!» Мне хотелось сломать стены и впустить гостей... так как ощущение чужого голода становилось для меня ужас­ным страданием. И я шел в старый порт и разбрасывал направо и налево мелкие деньги, которыми были наби­ты мои карманы.

Человеческая бедность — раба; ради пищи она бе­рется за труд без радости; я говорил себе: «Всякая ра­бота без радости — уныла», — и я оплачивал отдых не­скольких людей.

Я говорил:

— Не работай, тебе скучно от этого. — Я мечтал об этом досуге д ля всех, без которого не может расцвести никакая новизна, никакой порок, никакое искусство.

Марселина понимала мои мысли; когда я возвра­щался из старого порта, я не скрывал от нее, каких я там встречал жалких людей. Все заключено в челове­ке. Марселина смутно видела то, что я стремился от­крыть; и когда я упрекал ее в том, что она слишком охотно верит в добродетель, выкроенную ее мыслью по мерке каждого человека, она отвечала:

— А вы, вы довольны только тогда, когда заставляе­те их обнаружить какой-нибудь порок. Разве вы не по­нимаете, что наш взгляд развивает, преувеличивает в каждом человеке то, на что он устремлен? И мы застав­ляем его становиться тем, чем он нам кажется.

Мне хотелось, чтобы она была неправа, но я должен был признаться себе, что в каждом существе худший инстинкт казался мне самым искренним. При этом, что я называл искренностью?

Мы наконец уехали из Сиракуз. Воспоминание о юге и желании вернуться туда преследовали меня. На море Марселине стало лучше... Я снова вижу перед со­бой цвет моря. Оно так спокойно, что след корабля дол­го остается на нем. Я слышу звук падающей воды, теку­чий шум, мытье палубы, и на досках шлепанье босых ног матросов. Я снова вижу совсем белую Мальту; при­ближение к Тунису. Как я изменился!

Жарко. Хорошая погода. Все великолепно. Ах, мне хотелось бы, чтоб сейчас из каждой моей фразы изли­лась целая жатва наслаждения! Напрасно пытался бы я сей час навязать моему рассказу больше порядка, чем его было в моей жизни. Достаточно долго я старался показать вам, как я сделался тем, что я есть. Ах, осво­бодать свой ум от этой нестерпимой логики!.. Я чувст­вую в себе только одно благородство.

Тунис. Свет более обильный, чем яркий. Даже тень напоена им. Самый воздух кажется светящимся пото­ком, в котором все купается, в который погружаешься, плаваешь в нем. Эта сладостная земля удовлетворяет, но не успокаивает желание, и всякое удовлетворение лишь возбуждает его.

Земля, где отдыхаешь от произведений искусства. Я презираю тех, кто видит красоту лишь написанную и ис­толкованную. В арабском народе изумительно то, что свое искусство он претворяет в жизнь, — живет, поет и расточает его изо дня в день; он его не закрепляет, не погребает нив каком произведении. В этом — причина и следствие того, что там нет великих художников... Я всегда считал великими художниками тех, которые дерзают дать право красоты таким естественным ве­щам, что люди, увидев их, принуждены сказать: «Как я до сих пор не понимал, что это тоже прекрасно...»

В Керуане, где я еще не бывал и куда я отправился без Марселины, ночь была прекрасна. В тот момент, когда я собирался вернуться ночевать в гостиницу, я вспомнил о группе арабов под открытым небом на ци­новках перед маленьким кафе. Я пошел спать рядом с ними. Я вернулся покрытый паразитами.

Влажная приморская жара очень расслабляла Мар­селину, и я убедил ее в необходимости как можно ско­рее добраться до Бискры. Это было начало апреля.

Переезд — очень долгий. В первый день мы в один прием добрались до Константины, на следующий день Марселина почувствовала себя очень утомленной, и мы добрались только до Эль-Кантара. Там мы искали и на­шли под вечер тень прелестнее и свежее, чем лунный свет ночью. Она была как неистощимый напиток; она струилась к нам. А с откоса, где мы сидели, была вид­на вся пламенная равнина. Эту ночь Марселина не мог­ла уснуть; необычность тишины и малейшие шорохи беспокоили ее. Я боялся, нет ли у нее жара. Я слышал, как она ворочалась в постели. На другой день я заме­тил, что она стала еще бледнее. Мы уехали.

Бискра. Я подхожу к самому важному, о чем хочу рассказать... Вот я в городском саду; вижу скамейки... узнаю ту, на которой сидел в первые дни моего выздо­ровления. Что я читал здесь!.. Гомера. С тех пор я его не раскрывал. Вот дерево, кору которого я трогал. Ка­кой слабый я был тогда!.. Ах, вот и дети!.. Нет, я ни од­ного из них не узнаю. Как Марселина печальна! Она то­же изменилась, как я. Почему она кашляет в такую пре­красную погоду? Вот гостиница. Вот наши комнаты, террасы. О чем думает Марселина? Она не сказала мне ни одного слова. Как только она добирается до своей комнаты, она ложится; она устала и говорит, что хочет немного поспать. Я выхожу.

Я не узнаю детей, но они узнают меня. Проведав о моем приезде, они сбегаются. Возможно ли, что это они? Какое разочарование! Что случилось? Они страш­но выросли. В два года с лишним — это невозможно... Какая усталость, какие пороки, какая лень так обезоб­разили эти лица, на которых сияла юность? Какая чер­ная работа так согнула эти прекрасные тела? Это — пол­ное крушение... Я расспрашиваю. Бахир служит на побе­гушках в каком-то кафе; Ашур с трудом зарабатывает гроши, дробя камни для мостовой; Хамматар потерял глаз. Кто мог бы подумать — Садек остепенился! Он по­могает старшему брату продавать хлеб на рынке: он за­метно поглупел. Абжиб служит мясником в лавке свое­го отца; он жиреет; он уродлив; он богат; он не желает больше разговаривать со своими бедными товарищами... Как глупеют люди от почтенной жизни! Неужели я най­ду в них то самое, что ненавидел в нас? Бубакер? Он же­нат. Ему еще нет пятнадцати лет. Это смешно. Однако, нет, я видел его сегодня вечером. Он объясняет: его же­нитьба только для видимости. Он, кажется, отпетый рас­путник! Он пьет, теряет стройность форм... Это все, что осталось? Вот что делает с ними жизнь! По своей не­стерпимой печали я замечаю, что ехал сюда в значи­тельной степени для того, чтобы снова увидеть их. Ме­налк прав: воспоминание злосчастная выдумка.

А Моктир? О, этот только что вышел из тюрьмы. Он прячется. Другие с ним больше не водятся. Мне хоте­лось бы его увидеть. Он был самый красивый из них; разочаруюсь ли я в нем так же, как в других? Его ра­зыскивают. Приводят ко мне. Нет, этот не пал. Даже в моем воспоминании он не был так великолепен. Его сила и красота совершенны... Увидев меня, он улыба­ется.

— А что ты делал до тюрьмы?

— Ничего.

— Ты крал?

Он протестует.

— Что ты теперь делаешь?

Он улыбается.

— Послушай, Моктир! Если тебе нечего делать, про­води нас в Туггурт. — И меня внезапно охватывает же­лание ехать в Туггурт.

Марселина себя плохо чувствует; я не знаю, что у нее в душе происходит. Когда я вечером возвращаюсь в гостиницу, она прижимается ко мне молча, с закры­тыми глазами. Из-под завернувшегося широкого рукава видна ее исхудавшая рука. Я долго ласкаю и баюкаю ее, как ребенка, которого хотят усыпить. Отчего она так дрожит — от любви, тоски или лихорадки?.. Ах, быть может, еще не поздно... Не остановиться ли мне? Я ис­кал, я нашел то, что составляет мою ценность; это ка­кое-то упорство, влекущее к худшему. Но как сказать Марселине, что завтра мы едем в Туггурт?

Она спит в соседней комнате. Давно взошедшая лу­на заливает теперь всю террасу. Это почти страшный свет. От него нельзя спрятаться. В моей комнате белые каменные плиты, и на них он виднее всего. Волна све­та вливается через широко открытое окно. Я узнаю этот свет в комнате и тень от двери. Два года тому назад он продвинулся еще дальше... — да, как раз туда она сей­час приближается, — когда я встал, отказавшись от сна. Я прислонился плечом к косяку двери. Я узнаю непо­движность пальм... Какие слова прочел я в тот вечер?.. Ах, да! Слова Христа к Петру: «Теперь ты сам препоя­шешься и пойдешь, куда захочешь...» Куда я иду? Куда я хочу идти?.. Я вам не сказал, что из Неаполя, когда я в последний раз был там, я проехал в Пестум, на один- единственный день... Ах, я рыдал бы теперь перед эти­ми камнями! Древняя красота казалась простой, совер­шенной, радостной — покинутой. Я чувствую, что от меня уходит искусство. Чтоб дать место — чему? Те­перь это уже не радостная гармония, как прежде... Я больше не знаю темного Бога, которому служу. О, но­вый Бог! Дай мне узнать неведомые племена, неожи­данные образы красоты!

На следующий день на рассвете мы уезжали в дили­жансе. Моктир с нами. Моктир счастлив, как царь.

Чегта, Кефелдор, Дрейер... унылые остановки сре­ди. унылой бесконечной дороги. Признаюсь, я думал, что эти оазисы веселее. Но в них нет ничего, кроме камня и песка; еще несколько кустов-карликов с при­чудливыми цветами; порою несколько пальм, питае­мых скрытым родником... Теперь я предпочитаю оази­су пустыню... край смертельной славы и нестерпимого великолепия. Усилия человека кажутся там безобраз­ными и жалкими. Теперь всякая другая земля мне скучна.

— Вы любите нечеловеческое, — говорит Марсе­лина.

Но как она сама смотрит! С какой жадностью!

На второй день погода немного портится; это зна­чит, что поднимается ветер и тускнеет горизонт. Мар­селина страдает; песок, который приходится вдыхать, жжет, раздражает ей горло; слишком сильный свет утомляет ее глаза; этот враждебный вид ранит ее. Но уже слишком поздно возвращаться. Через несколько часов мы будем в Туггурте.

Эту последнюю часть путешествия, такого еще не­давнего, я помню хуже всего. Я не могу уже теперь при­помнить ни пейзажей, ни того, что я сначала делал в Туггурте. Но я еще хорошо помню свое нетерпение и стремительность.

Утром было очень холодно. Под вечер подымается горячий самум. Марселина, измученная дорогой, легла сразу по приезде. Я надеялся найти гостиницу немного получше; наша комната ужасна; песок, солнце, мухи все сделали тусклым, грязным, несвежим. Так как мы почти ничего не ели с раннего утра, я сразу же заказы­ваю обед но все кажется скверным Марселине, и я не могу убедить ее съесть что-нибудь. Мы привезли с со­бой все нужное для приготовления чая. Я занимаюсь этими смешными хлопотами. Мы довольствуемся су­хим печеньем и этим чаем, которому местная соленая вода придает отвратительный вкус.

Из последней видимости добродетели я остаюсь до вечера с ней. И вдруг я чувствую себя без сил. О, вкус пепла! О, усталость! Печаль сверхчеловеческого уси­лия! Я едва решаюсь смотреть на нее; я слишком хоро­шо знаю, что мои глаза вместо того, чтобы искать ее взгляда, устремятся на черные дыры ее ноздрей; выра­жение ее страдающего лица ужасно. Она тоже на меня не смотрит. Я чувствую ее страдание, как будто прика­саюсь к ней. Она сильно кашляет, потом засыпает. Мо­ментами она резко вздрагивает.

Ночь грозит для нее быть тяжелой, и, пока еще не слишком поздно, я хочу узнать, к кому можно здесь об­ратиться. Я выхожу. Перед дверью гостиницы — город­ская площадь, улицы; самый воздух так странен, что мне почти кажется, что все это вижу не я. Через не­сколько минут я возвращаюсь. Марселина спокойно спит. Я напрасно испугался; в этой причудливой стране всюду мерещатся опасности; это бессмысленно. И, ус­покоившись, я снова выхожу.

Странное ночное оживление на площади; бесшум­ное движение; таинственно скользят белые бурнусы. Ветер моментами отрывает клочки странной музыки и доносит их неведомо откуда. Кто-то подходит ко мне... Это Моктир. Он ждал меня, по его словам, и был уве­рен, что я выйду. Он смеется. Он хорошо знает Туггурт; он часто ездит сюда и знает, куда меня вести. Я послуш­но следую за ним.

Мы идем в темноте; входим в мавританское кафе; отсюда и доносилась музыка. Танцуют арабские жен­щины — если можно назвать танцем это однообразное скользящее движение. Одна из них берет меня за руку; я следую за ней; это любовница Моктира; он тоже идет с нами... Мы втроем входим в узкую и глубокую комна­ту, где стоит только кровать... Очень низкая кровать, на которую мы садимся. Белый кролик, запертый в комна­те, сначала пугается, потом привыкает, подходит и ест из рук Моктира. Нам подают кофе. Потом, в то время как Моктир играет с кроликом, женщина привлекает меня к себе, и я ей не противлюсь, как не противятся сну...

Ах, я мог бы солгать здесь или умолчать, но чем бу­дет для меня этот рассказ, если он перестанет быть правдивым?..

Я один возвращаюсь в гостиницу; Моктир остается в кафе на ночь. Поздно... Дует сухой сирокко; этот ве­тер весь насыщен песком и зноем, несмотря на ночь. Сделав несколько шагов, я чувствую, что весь в поту; но вдруг я ускоряю шаги, почти бегу. Быть может, она проснулась... быть может, я нужен ей? Нет, ее окно не освещено. Я ловлю короткий промежуток между двумя порывами ветра, чтобы открыть дверь; тихонько вхожу в темноту. Что это за шум?.. Я не узнаю ее кашля... Она ли это?.. Я зажигаю свет.

Марселина полусидит на кровати; одной из своих худых рук она цепляется за перекладину кровати, что­бы удержаться; ее простыни, руки, рубашка залиты по­токами крови; все ее лицо испачкано кровью; ее глаза безобразно расширены; предсмертный крик испугал бы меня меньше, чем ее молчание. Я ищу на ее потном ли­це маленькое местечко, где бы мог запечатлеть полный ужаса поцелуй; на губах у меня остается вкус ее пота. Я обмываю и освежаю ее лоб, щеки... Около кровати я чувствую что-то твердое под ногой; я наклоняюсь и под­нимаю четки, которые она уронила; я кладу их ей в от­крытую руку, но ее рука тотчас же падает и снова ро­няет четки. Я не знаю, что делать; мне хочется позвать на помощь... Ее рука отчаянно цепляется за меня, удер­живает; ах, неужели она думает, что я хочу ее поки­нуть? Она говорит мне:

— О, ты ведь можешь еще подождать немного.

Она видит, что я хочу ответить.

— Ничего не говори, — добавляет она, — все хо­рошо.

Я снова поднимаю четки; кладу их ей в руку, но она снова их роняет... нет, не роняет, бросает их. Я станов­люсь на колени перед ней, прижимаю ее руку к себе.

Она опускается наполовину на матрас, наполовину на мое плечо и будто спит, — но глаза ее широко от­крыты.

Через час она вскакивает; освобождает свою руку из моих рук, хватается за рубашку и рвет кружево. Она задыхается.

Под утро снова кровавая рвота...

Я кончил свой рассказ. Что мне еще прибавить? Туг­гуртское кладбище безобразно, наполовину засыпано песками... Остаток воли, который у меня был, я прило­жил к тому, чтобы вырвать ее из этого скорбного края. Она похоронена в Эль-Кантаре в тени сада, который ей нравился. С тех пор прошло не больше трех месяцев. Эти три месяца отодвинули мои воспоминания на де­сять лет.

Мишель долго молчал. Мы тоже все молчали, охва­ченные странным смущением. Нам казалось, увы, что, рассказав нам о своем поступке, Мишель узаконил его. То, что мы не знали, на каком месте того медленного объяснения, которое он привел, нам следовало осудить его, делало нас почти его сообщниками. Мы были как бы связаны. Он закончил свой рассказ без всякой дро­жи в голосе, и ни единое выражение, ни жест не выда­ли ни малейшего его волнения — от того ли, что ци­ничная гордость не позволяла ему показаться нам взволнованным, от того ли, что из какого-то целомуд­рия он не хотел вызвать наших слез своим волнением, от того ли, наконец, что он не был взволнован. Я не от­личаю в нем даже теперь высокомерия от силы, черст­вости или стыдливости. Через несколько секунд он продолжал:

— То, что пугает меня, признаюсь вам, это то, что я еще очень молод. Мне иногда кажется, что моя настоя­щая жизнь еще не начиналась. Вырвите меня теперь от­сюда и дайте смысл моему существованию. Я сам не знаю больше, где найти его. Я освободился, это возмож­но; но что из того? Я страдаю от этой свободы, не име­ющей применения. Поверьте мне, это не усталость от моего преступления, если вам угодно так назвать его, но я должен доказать самому себе, что я не преступил своего права.

Когда прежде вы знавали меня, я обладал большим упорством мысли, и я знаю, что это свойство настоящих людей; теперь у меня его нет. Но мне кажется, что здешний климат виноват в этом. Ничто так не отнима­ет силу у мысли, как эта настойчивая лазурь. Здесь вся­кое усилие невозможно, настолько близко следует на­слаждение за желанием. Окруженный великолепием и смертью, я ощущаю счастье слишком близким и забве­ние слишком похожим на него. Я ложусь спать посре­ди дня, чтобы обмануть унылую длительность дней и их невыносимый досуг.

Видите, у меня здесь белые камешки, которые я сначала кладу в тень, потом долго держу в ладони, по­ка не иссякнет их успокаивающая свежесть. Затем я меняю камешки, кладу в тень те, свежесть которых ис­парилась. Так проходит время, и наступает вечер... Вы­рвите меня отсюда; я сам не могу этого сделать. Что-то сломалось в моей воле; я даже не знаю, где я нашел си­лы покинуть Эль-Кантару. Иногда я боюсь, что уничто­женное мною отомстит мне. Я хотел бы начать заново. Я хотел бы избавиться от того, что еще осталось от мо­его состояния; видите — эти стены еще покрыты остат­ками его... Здесь я живу без расходов. Трактирщик, по­луфранпуз, приготовляет мне много пиши. Мальчик, который убежал при вашем появлении, приносит мне ее, получая за это несколько грошей и ласку. Этот мальчик, такой дикий с чужими, со мной нежен и ве­рен, как собака. Его сестра, Улед-Найль, каждую зиму ездит в Константину, где продает свое тело прохожим. Она очень красива, и первые недели я допускал, чтобы она проводила иногда ночи со мной. Но однажды ут­ром ее брат, маленький Али, застал нас вместе в посте­ли. Он очень рассердился и не хотел потом приходить ко мне целых пять дней. Между тем он знает, как и чем живет его сестра; он раньше говорил мне об этом тоном, в котором не было никакого смущения... Значит ли это, что он ревнует? Впрочем, этот плут добился своего, так как отчасти от скуки, отчасти из страха по­терять Али, я уже больше не звал к себе этой девушки. Она на это не рассердилась; но каждый раз, как я встречаю ее, она смеется и шутит, что я предпочел ей мальчишку. Она уверяет, что это он удерживает меня здесь. Быть может, она отчасти права...

1. Мужская длинная рубаха белого цвета. *(Примеч. ред.)* [↑](#footnote-ref-1)
2. Плащ с капюшоном. *(Примеч. ред.)* [↑](#footnote-ref-2)
3. Пальмовая веточка, лишенная листьев. *(Примеч. ред.)* [↑](#footnote-ref-3)
4. Солдатская шапка. *(Примеч. ред.)* [↑](#footnote-ref-4)
5. Как красива синьора *(um.).* [↑](#footnote-ref-5)
6. Tы тоже красив, мальчик *(um.).* [↑](#footnote-ref-6)
7. Все французы — любовники *(um.).* [↑](#footnote-ref-7)
8. Но не все итальянцы достойны любви *(um.).* [↑](#footnote-ref-8)